

[Polaris]

Виктор
ИРЕЦКИЙ



ТАЙФУН

Собрание рассказов

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLXIV



Salamandra P.V.V.

Виктор
ИРЕЦКИЙ

ТАЙФУН

Собрание
рассказов

Salamandra P.V.V.

Ирецкий В. Я.

Тайфун: Собрание рассказов. Сост. и подг. текста А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 202 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXIV).

Первая часть собрания рассказов известного в эмиграции писателя В. Я. Ирецкого (1882-1936) включает рассказы из цикла «Гравюры», в том числе полностью воспроизведенный одноименный сборник. Эти изящные исторические фантазии-стилизации были в основном написаны в России в самом начале 1920-х гг. Во второй части собраны созданные в эмиграции рассказы и маленькая повесть — вещи главным образом авантюрного и фантастического свойства. Все произведения переиздаются впервые. Книга дополнена некрологическими очерками П. Пильского и Н. Волковыского.

© Author, estate, 2018

© A. Sherman, сост., подг. текста, 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018

Часть первая

ГРАВЮРЫ

В. ЧРЕЦКИЙ
ГРАВЮРЫ



МАСОН

О тныне, когда я больше не надеюсь допущен быть в святилище изящного храма Натуры и не имею обязанностей по должности и обету, мне остается с ревностнейшей правдивостью изложить свои размышления, дабы оставить их в назидание любознательному потомству. Но мирское витийство мне не по душе. Сверх того, я не имел щастия обучаться вышним наукам, и компас мудрых мне неизвестен. Я буду писать неискусно с твердым упова нием, что моим слабым пером управляет Божественное Величество и самосущая премудрость. Крепкий и милосердый Боже, помоги мне!

В тот день, когда я стал сочленом преславного собрата спроведливых и свободных каменьщиков и был принят в теоретический градус, я почел себя щастливейшим из смертных. Это было в субботу пять на десятого Генваря. Назидательный обряд посвятил мое сердце Великому Строителю мира и утвердил в памяти моей слова мастера нашего, что щастие в тихом спокойствии внутреннего сознания. Подобно сосуду, я наполнился мыслию етой до края и тут же порешил навеки отбросишь от себя всякую гиломанию, что означает любовь к грубой материи. С великим жаром принял я изучать познания всех вещей и гордился, что был наставляем в оном под некоторыми иероглифическими образами, что делалось для того, дабы недостойные, имеющие профанами, к тайне не были допущаемы.

Таким путем я узнал Божественную Физику, бытийственные книги древних, Науку Самопознания и довольно штудировал Священное Писание, особливо те изречения, кои принадлежали до нашего звания. Тем самым я утолял жажду к познаниям из источника Едемского, изобильно протекающего во все четыре конца вселенныя. Коротко говоря, я был доволен настоящим и беспечен о будущем, тем

более, что все изученное мною было совершенно сходно с учением нашего Спасителя.

От мужей, искусившихся в науках, я наслушался, что истинные знания всюду бывают сопровождаемы недоверчивостью к себе, но я того не испытывал никакого и полагаю, что это происходило от внутреннего щастия. К тому времени я от службы своей получил ерлас и с супругой уехал к себе в деревню, где намеревался погрузить себя в благодатный дух натуры, которая бы еще более утвердила меня в моем благополучии. Увы! Человеку надлежит всегда готову быть ко всему, и вот после нескольких лет щастия пришла моя череда страдать безмерно и непосильно.

Причиной сих непредвиденных злочастий была моя супруга. Как уже говорено выше, я поехал к себе в деревню вместе с нею. Она происходила из достаточно благородной семьи, понимала французский, немецкий и аглинский языки; лицом была красива, а приятности имела несказанно еще убедительнее своей красоты. Но нраву была противуречавшего, в словах пылкая, а в рассуждении любви склонялась к чрезмерным сантиментам. Хотя годами возраста своего она не на много была меня моложе, — всего на шесть лет, — но упорно считала меня за старика и через сие нередко отвращала свою любовь в сторону мечтаний. Я же, полагая, что с годами это пройдет, не считал должным наставлять ее в ином и указывать, что таковое мечтание пагубно.

Как сейчас помню, однажды перед сном я с восхищением погрузился в чтение книги Иоанна Масона и наслаждался размышлениями сего мудролюбца, как вдруг услышал легкое и осторожное шаганье в смежном апартаменте. Словно в предчувствии горя, у меня шибко заколотилось сердце и, живо вскочив, я направился в спальню жены. Поспешно я открыл дверь, осмотрел ложе, но супруги своей я там не нашел. Тогда в замешательстве я от негодования зарычал, но вслед за тем рассудил за благо бесшумно последовать за беглянкой, дабы узнать, каковая у нее в уме авантюра.

Я долго бродил по саду, прислушивался, смотрел, пока наконец не наткнулся на... Ах, что я узрел! Не могу выразить того словами, ибо для виденного мною не придумано еще благородного описания. В объятиях неверной и бесстыдной супруги моей, уподобившейся Danae, увидел я — кого же? — доезжачего Семёна, холопа, самого что ни на есть подлого звания, псаря, неучи, зато с черными кудрями и медною серьгою в ухе. Естьли бы подо мною разверзлась земля, я поразился бы много мене, нежели тому, что предстало моему взору, и через сие преодолеть мою гневную страсть было невозможно. Невзиная на поздний час, я немедля приказал Семёна отодрать; супругу же поставил быть очевидицей произшествия, дабы уязвить ее пребольно. Тотчас же двое из моих дворовых усердно стали сечь негодяя, но не утерпев, я также присоединился к ним и был третьим.

Уже наступил утра рассвет, когда экзекуция кончилась. Негодный холоп, гнусно оскорбивший господина своего, получил достодолжное возмездие и лежал без памяти. Не в полном разуме была и моя неверная супруга. В рассуждении же себя могу точно сказать, что хотя я и скрежетал зубами, но в памяти был твердой и целых два дня домогался придумать достаточную кару вероломной. Между тем дрянной холоп, не приходя в память, подох как собака. Тогда я рассудил так. Верному человеку я приказал Семёнов труп свезти ночью в пустую сторожку, где ранее жил лесник, и туда же, через три дня, тайно доставил зловредную Иезавель. Уже труп смердел довольно. Я втолкнул в уединенную избушку мою изменницу, наглухо забил за нею двери и окна и, презрев ее мольбы, быстро удалился, на прощанье сказав ей:

— На таковое твое randevu, презренная, я согласен вполне.

После того я вернулся домой, приказал уложить вещи и, не медля, уехал в столицу, чтобы в суетливости забыть про свое горе.

Ах, за что так испытала меня судьба! Мне, будучи горячего свойства, весьма трудно было успокоить свое волнение

ние, и я мучился до крайности. К тому же произшествие с бесследно пропавшей супругой ни коим образом скрыть было неможно, и друзья мои стали поговаривать о том не без удивления. Тогда, запервшись у себя на дому, взялся я за чтение всяких полезных книг и знатное прочел их число. Сие учение самого себя привело меня к знакомству с преславным сочинением Иоганна Арнта «Об истинном христианстве» и с пиесой Рамзая «Новая Киропедия или о баснословии древних». Но более всего тронуло мое уставшее сердце сочинение мудрого аббата Белярмина «Искусство благополучно умирать», прочтя каковое я исполнился упорной мыслию закончить свою жизнь. И как братья по вольной ложе, полагая пагубным для себя иметь со мною дело, уже начали убегать меня, то счел за благо так и поступить. Но ранее всего рассудил я покинуть ложу. Какой же я есть вольной каменщник, говорил я самому себе, есть ли руки у меня замаранные, а совесть нечистая?

С болью в сердце я распростился с братьями, наложил на себя епитимью и стал дожидаться, когда Господь вразумит меня на дальнейшее. И еще я думал: всегда был я верным благочестивым христианином, заповеди Христовы всегда были у меня в уме. Кто же стал причиной моего злодеяния — Мамона и Белиар или Господь Бог? Невместно считать, что ужасное совершилось по попущению Господа. Не приличествует ли верующему во Христа твердо полагать, что злые дела творятся лишь соизволением мерзкого Сатаны...

Милосердый Боже! Прости мне грешные мысли, когда они неправильны, но я так, а не иначе думаю и через сие мне легче. Права и законы Натуры везде и всегда будут одинаковы, и человек проживает в неослабной власти их жестокого тиранства, не сознавая того, что, подобно рыцарю Дон-Кишиоту, он лжет перед самим собой, будто творит дело любви на общее благо.

Вот и все, что хотел записать для любознательных потомков. Но уже приближается полуночный час. Душа моя

покрыта проказой. Я препоручаю ее истинному Врачу и от
Него токмо жду исцеления.



РЫЦАРЬ БЕРГЭМ

Пирс Бергэм получил свою мастерскую по наследству от отца, хромого Джо Пирстера, который на пространстве от Шотландии до Антильских островов одно время был известен, как закоренелый пират. В каком-то сражении, а вернее всего, в пьяной драке, безрассудный Джо потерял ногу и вскоре заменил ее деревяшкой с железным обручем. После такого веского предостережения он решил оставить свою опасную деятельность на море, кстати сказать, нисколько его не обогатившую, и стал искать счастья на сухопутье. При этом он дальновидно переменил фамилию, и таким образом проворно ускользнул от неумолимого возмездия суда вице-адмиралтейства. Случай завел его в Бристоль, где он и обосновался на одной из самых грязных и вонючих улиц этого многолюдного города в качестве починочных дел мастера, то есть паял ведра, лудил кастрюли и починял замки. Одновременно он женился и тем самым окончательно прикрепил себя к сушке.

Но острый запах моря и волнующие воспоминания никак не позволяли ему заглушишь в себе старые склонности рыцаря фортуны, и очень часто, вместе с озабоченными хозяйками, которые приносили с собой дырявые ведра или сломанные ключи, в его каморке стали появляться воры с крадеными вещами, а также свободные купцы, как тогда называли контрабандистов. Иногда разговоры с ними были кратки, а иногда продолжительны и бурны. Во время одной из таких продолжительных бесед Джо лишился второй ноги и сделался самым неподвижным из сухопутных людей, чем безмерно огорчал свою жену, ни на минуту не оставляя ее без гнусных ругательств, ворчливых укоров и непрерывного брюзжания. Вообще любимым занятием для его языка и мозга были противоречия; грубости и ссоры были его наслаждением. Он по-настоящему бывал счастлив, если ему удавалось кого-нибудь оскорбить.

В этой обстановке — среди криков, ругани и скверноСловия — протекало детство его сына Пирса, тупоумного мальчугана с большим ртом и длинными, как у обезьяны, руками. Прикованный к месту Бергэм-отец не выносил одиночества и требовал, чтобы сын безотлучно находился при нем и молча выслушивал его нескончаемые повествования о былых удачах и неудачах. Под хриплый говор бывшего пирата, то и дело менявшего восторги на мрачную печаль, маленький Пирс обучался всем премудростям слесарных наук, но постичь их не мог. Устройство замков рисовалось ему искусством, предназначенным для немногих. Поэтому он наотрез отказался изучать его и остановился на простейшем из искусств того же цеха — на изготовлении и починке цинковых и железных изделий.

Когда Пирсу исполнилось восемнадцать лет, он стал владельцем мастерской. Это случилось внезапно. В один прекрасный день старый безногий пират решил, что он через чур долго просидел на одном месте и прямо-таки на четвереньках отправился в трактир, носивший славное название «Храбрый моряк». Там под воздействием пинты ямайского рома он вступил с каким-то колониальным прощелыгой в ожесточенный спор, доказывая превосходство морской службы над сухопутной, и перестал извергать злые слова только тогда, когда бутылка из-под выпитого им рома прошибла ему голову. С этого дня Пирс Бергэм приобрел право громко говорить, принимать заказы и назначать цену, чего до сих пор делать не смел.

Но перемена этим не ограничилась. Как сказал бы старый пират, Пирс решил немедленно переложить галс и взять другой курс. Из ненависти к отцу, долго скрываемой, он отверг все его приемы работы, высокомерную манеру обращаться с людьми и беспричинную руготню. Ему хотелось начисто выкуриить из своей мастерской дух отца, старой, бесчестной и раздражительной собаки, которая готова была вцепиться в горло каждому, кто заглядывал в ее копну. Это удалось ему, и он искренно поверил, что принадлежит к другой расе, улучшенной и очищенной от семейного бесчестья.

Только одна отцовская склонность оставалась в нем неистребимой. Так же, как у старого пирата, в его крови пламенела тоска по сказочным сокровищам, которые таятся в пещерах, на островах и на дне океана и ждут, пока он придет за ними. Среди работы, под стук молотка и визг напильника, ему грезились бочки с золотыми гинеями и дублонами, а фантазия тотчас же выстраивала перед ним большой замок, приблизительно такого же вида, как собор св. Марии в Редклифе, который был виден из его окна.

Однако и бочки с золотом, и богатый замок пребывали только в мечтах. В тридцать восемь лет он продолжал оставаться мастером цинковых и жестяных изделий и был насквозь пропитан запахом ржавчины и смазочного масла.

Однажды к нему заглянул юноша, одетый по-господски, но бедный, как крыса. Он принес починить цинковый подсвечник и стыдливо спросил о цене. Бергэм почувствовал в нем обедневшего дворянина и, питая слабость к этому сословию, не взял с него ничего. Так между ними установилась дружба.

Его звали Томас Чэттертон. Как говорили в это время, он был a *garret poet*, что означало чердачный поэт. Чэттертон мечтал о славе и сильно тяготился тем, что отпущенное ему свыше дарование значительно опередило его возраст. Из боязни встретить недоверие к своим молодым силам, он выдавал сочиненные им поэмы за чужие, будто бы переведенные с языка древних саксов, замысловатые письмена которых он научился разбирать.

Но, мечтая о славе, Чэттертон имел и более скромные мечты: в любое время ощущать в своем кармане несколько шиллингов. Ломая голову над тем, как бы добыть их, он однажды был озарен мыслью сыграть на тщеславии тех людей, которые, пребывая в ничтожестве, пытаются выйти в знать.

Впервые он применил свою выдумку на одном парикмахере, который не прочь был по праву носить тупею локонов надо лбом, широкополый сюртук и жилет, доходивший только до талии. Чэттертон смастерили для него стариный документ с геральдическим изображением его древней фамилии, но первый опыт, по-видимому, оказался

неудачным. Парикихер отнесся к документу крайне подозрительно.

Тогда у него мелькнула мысль проделать то же самое с более простодушным мастером цинковых изделий, и это увлекло его нисколько не меньше, чем подделка старинных хроник города Бристоля, ибо для него, как для всякого поэта, слово лгать ничем не отличалось от слова сочинять.

— Мистер, — сказал он однажды Бергэму, — не происходите ли вы от древнейшего из родов Англии? По крайней мере, в Редклифском соборе я нашел пергамент с родословным древом славной фамилии Бергэмов.

Сын хромого пирата конфузливо смахнул со лба каплю грязного пота и, почесав напильником макушку, смущенно сказал:

— Все возможно. Но только я полагаю, что это мне ни к чему.

Тогда фантазия поэта живо изобразила перед ним ту сказочную перемену, которая должна совершиться в его жизни, если это окажется правдой, и с той же легкостью, с какой он разбирался в причудливых письменах саксов, юный поэт прочел будущее Бергэма, восстановленного в своих рыцарских правах.

Чэттертон говорил прозой, но это были стихи, от которых воспламеняются чувства и забирают в свою власть разум. Бергэм слушал и, словно зачарованный, замер на месте. В эти мгновенья в его душе перестраивались все мечтания, пламеневшие в крови, и снова загорелась надежда отыскать сокровища, которые его терпеливо ждут в пещерах и на уединенных островах. Ему даже показалось, что рыцарство есть один из кратчайших путей к ним.

Когда поэт собирался уходить, у верстака стоял уже не Бергэм, мастер цинковых и жестяных изделий, а сотворенный вымыслом искатель счастья, славы и богатств.

Чэттертон очнулся первым и сказал:

— Занимаясь наукой, я в то же время очень нуждаюсь, хотя сам не виноват в этом нисколько.

В каком-то полусне Бергэм протянул своему благодетелю пять шиллингов и просил как можно скорее принести

пергамент с гербом его предков. Через несколько дней он получил его, а в придачу еще и старинную балладу, в которой воспевался рыцарь с той же фамилией.

С этих пор Бергэм больше не приходил в себя и целиком ушел в мир, созданный из ничего. В твердом убеждении своих прав на рыцарство, он написал письмо королю Георгу, и упорное молчание его объяснял злостными интригами придворных. Когда Чэттертон, уличенный в своих поэтических проделках всесильным Горацием Вальполем, принял яд, Бергэм и тут решил, что это гнусная интрига, направленная лично против него.

Так после долгих лет ржавой прозы мастер цинковых изделий отдал себя во власть порабощающего вымысла и узнал, что такое восторг. Замечательно при этом, что он сильно стал походить на отца. Как и тот, он проникся сатанинским высокомерием и бывал нескованно счастлив, когда ему удавалось кого-нибудь оскорбить.

Потом он стал пьянистовать, колотил жену, забросил свое ремесло и, чтобы существовать, занялся грабежом на большой дороге, где курсировали почтовые дилижансы. Однажды ему прострелили ухо.

Он пережил своего благодетеля на 19 лет и был повешен в тот самый день, когда парижский народ разрушил Бастилию и началось уравнение прав между голубой кровью и черной костью.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

О. С.

I

Yм, манеры и утонченнейшая любезность Латура пленяли окружающих так же, как его кисть. Никто бы не сказал, что первые двадцать лет он прожил в городке Сен-Контене, где не знали ни грациозных пируэтов, ни пасторалей, ни иллюминированных боскетов из роз, ни мадригалов, украшающих однотонные беседы. На далеком расстоянии он впитал в себя все достижения парижской жизни, точно родился и вырос в салоне какой-нибудь великолепной маркизы, собирающей вокруг себя всех умников и острословов.

Поэтому через неделю после его прибытия в Камбрэ все от него были без ума. В то время в этом фландрском городе собирались виднейшие дипломаты всей Европы, и их черепаховые лорнеты испещрили улицы и площади густой черной сеткой.

Искусству писать портреты Латур обучался в Реймсе, куда время от времени коронационные торжества привозили роскошь Парижа. Латур хорошо усвоил мастерство, а главное, понял, что людей надо изображать такими, какими они хотели быть. Это тотчас же оценили дамы, и в Камбрэ он был завален заказами, в количестве которых ему позавидовал бы сам Ларжильер.

Среди многих заказчиц, красивых или остроумных, одна привлекла его особенно. Он познакомился с ней на обеде у испанского дипломата и среди оживленного разговора, который сдержанно обнимал все то, что таит в себе несдержанность, сразу же почувствовал к ней неодолимое влечение, толкающее молодых повес на безрассудные поступки.

От тонкой словесной паутины он внезапно перешел к признаниям в любви и смело просил о свидании.

Латур нимало не сомневался в победе над дамой и уверенно решил скрестить свою настойчивость с ее жеманством, заранее предвкушая удачу в этом славном поединке. К тому же он узнал, что супруг оберегает ее верность не силой любви и ума, а исключительно ценностями подарками и бдительной охраной.

Однако, первый выпад в этом поединке окончился для Латура неудачно. Прелестная улыбка дамы сменилась громким хохотом, и Латур отлично понял, что подобная веселость в деле любви — дурной знак.

Тогда он благоразумно перенес место поединка в гостиную своей прекрасной модели и повел против нее бешенную атаку в то время, когда рука его водила кистью.

II

Три недели, казавшиеся бесконечностью, длилась эта бескровная война. Беллона уже давно махнула рукой на сражающихся и предоставила их самим себе. Исход был неясен. Латур стремительно нападал; кокетка умело защищалась. Но преимущество было на стороне нападающего: там, где оказывались бессильными страстные слова, помогала услужливая кисть, льстившая самолюбию дамы. Портрет был бесподобен. И вот улыбки ее стали менее холодными, а взгляды более благосклонными. Зная, что позирование должно скоро закончиться, Латур усилил нападение и стал являться на сеансы с колчаном, туго набитым стрелами нежнейшего остроумия.

Однажды они заговорили о целомудрии. Латур коварно утверждал, что время от времени целомудрие должно давать взятку пороку.

Собеседница не соглашалась.

Тогда Латур, зная, как она боится мышей, сказал ей:

— Я слышал про одну даму, у которой от упорной добродетели в кровати завелись мыши.

Дама от брезгливости содрогнулась и поспешила поднести к устам розу. Вдыхая ее аромат, она искоса заглянула в зеркало. Оно преисправно доложило кокетке, что роза пристала к ней как нельзя лучше.

Тогда, словно сраженная самой острой стрелой, прекрасная модель, стыдливо пряча свое лицо в нежных лепестках, шепотом произнесла:

— Приходите в полночь к моему окну.

— И что же будет?

— Потом увидите

Латур поклонился, бросил кисть и тотчас же прекратил утомительную осаду крепости, которая уже начинала ему казаться совершенно неприступной.

Приближалась ночь. Предчувствуя, что его ждут опасности, Латур вооружился шпагой и, сунув в карман шелковую лестницу, стал обдумывать, как проникнуть в третий этаж, где помещалась спальня прелестной дамы. С этими мыслями он осторожно подкрался к окнам своей любезной и трепетно стал ждать.

Ровно в полночь, когда на городской башне мелодично отзвучали часы, открылось маленькое оконце, и выглянувшая оттуда горничная показала ему знаками, чтобы он влез в корзину, спущенную на блоке. Латур был слишком влюблен, чтобы задуматься над тем, не оскорбляет ли его достоинства эта грубая корзина, предназначенная поднимать на чердак выстиранное белье. Он смело взобрался в необычный воздушный экипаж, благодушно сравнивая себя с Венерой, которую везут белые голуби.

Визг блока заполнил его сердце испугом. Он уже было схватился за эфес, но, увидев шелковые жалюзи, за которыми ему мерещились распостертые объятья, не слышал более ничего, а только напрягал свое зрение.

Медленно поднималась занавеска. Лунный свет, удаляясь о полосы свисавшего плюща, создавал волшебство, от которого у Латура, вознесенного к небу, замирало сердце. Он уже готовился прыгнуть в окно и окунуться в сладкую власть влажных поцелуев, как вдруг блок заскрипел, и корзина стала опускаться...

III

— Вы отказываетесь войти ко мне? — возмущенным шепотом спросила дама.

— О, милосердный Бог! — прозвучал ответ снизу. — Я ли не хочу? Прикажите вашей служанке, сударыня, снова поднять меня.

— Тише! — донеслось сверху. — Вы разбудите мужа.

Корзина поднялась снова. Затем остановилась. Потом опять среди ночной тишины предательски заскрипел блок, и корзина быстро-быстро опустилась на шесть туазов.

Латур вздохнул. Склонный к философии, он сравнил жестокую служанку, державшую в руках веревку от корзины, — с одной из Парк, которая держит в своих руках нить его жизни.

Опять заскрипел ржавый блок. Латур решил: на этот раз удача несомненна. Но не успел он это подумать, как распахнулось другое окно, и вместе с зажженным канделябром высунулась оттуда лысая голова мужа.

— Кто здесь? — грозно закричал он.

Вынув шпагу, Латур с деланным спокойствием ответил:

— Назвать себя я не желаю.

— Не желаете? Не надо. Но кто бы вы ни были, позвольте в таком случае мне пожелать вам спокойной ночи в этой постели, которая изобретена для влюбленных неудачников.

Послышался резкий звук захлопываемых окон, одновременно смех — и сверху и снизу. Все стихло, только временами было слышно, как скрипели заржавленные флюгера и мелодично били городские часы.

Привлеченная светом, над головой Латура стала кружиться летучая мышь. Она деловито описывала неровные круги, то поднимаясь, то опускаясь. Латур долго всматривался в ее таинственный полет и нашел объяснение своей неудачи в загадочных происках судьбы, которая такими же путанными линиями ведет таинственный путь человека.

Он протяжно вздохнул и печальным взглядом окинул пространство, отделявшее его от земли. Увы! Оно равнялось по меньшей мере десяти туазам.

Тогда Латур, отстегнув шпагу, опустился на дно корзины и свернулся в ней, как кошка. Ночная свежесть быстро охладила его чувства, и усталость смыжила ему глаза.

Спал он безмятежно. Ему приснился синий остров, окруженный белой кружевной пеной морских волн, и посреди острова сверкала большая перламутровая раковина. Изнутри нее выходила прекрасная нагая женщина, простиравшая руки для объятий и поцелуев. Латур приблизился и, узнав в ней ту самую даму, из-за которой он теперь висел в воздухе, с восторженным злорадством прыгнул к Сирене и овладел ею безраздельно.

...Из состояния длительного блаженства его вывели какие-то громкие крики. Он испуганно раскрыл глаза и увидел, что внизу собралась толпа поселян, гнавших на рынок ослов. Одновременно корзина опустилась на землю и выбросила Латура на мостовую. Под грубые насмешки толпы сонный любовник отправился домой и в тот же день уехал из Камбрэ навсегда.

Подробно описывать жизнь и дальнейшие похождения Латура — это значит рассказывать историю Франции трех королей, из которых Людовик Четырнадцатый был первым.

Одно только можно сообщить: Латур прожил восемьдесят четыре года и любил такое множество женщин, что несомненно затруднился бы составить хотя бы приблизительный список их имен. Но очаровательную кокетку из Камбрэ он не забыл. Латур сохранил ее в своей памяти, как неувядаемую улыбку прошлого, которое достижимо только для несбывающихся мечтаний.

ЗАПИСКИ КАНОНИКА

Я, Мартын Бросций, каноник капитула св. Флориана, записываю здесь примечательную историю, которая дошла до меня, как одного из депутатов суда Коронного Трибунала в Люблине. Призывая в свидетели Имя Господа нашего Иисуса, утверждаю, что я пишу правду.

Знаю, что жизнь моя не безгрешна и что я сам поддавался соблазнам. Но теперь мое иссохшее сердце чисто. В убогую келию мою не доходит шум людских голосов; полночный час тяготеет надо мной; по крайней старости своей, приближающей меня к иной жизни, я покорил в себе гордыню и лицеприятие. Бесстрастно хочу я поведать о том, что слышал и видел.

В лето от воплощения Бога Слова 1636-е божественное наказание постигло размножившихся в Люблине евреев. Их нечестивые, дерзкие поступки, а особенно их раввинов и школьников против христиан, всегда оставались не обнаруженными. Но вот десница Господня простерлась и над ними, и было это показано великим чудом.

Жил близ нашего города, в обители отцов-кармелитов, послушник по имени Павел. Был он с виду невзрачен, по знаниям ничтожен, и отцы-кармелиты посылали его в город собирать милостыню во имя Божие, как это полагается по уставу, от двери к двери. Между тем, неверные евреи уже давно подыскивали какого-либо непорочного душою христианина, дабы удовлетворить свою жестокость и безбожное изуверие. Полагая, что простота указанного выше монаха, по виду своему невинного жизнью и нравом, лучше всего подходит для задуманной ими цели, евреи поручили одному из своих, по имени Мордухаю, чтобы он из тела его источил кровь для общего блага их достойной проклятия религии.

Но думавшие так о простоте послушника Павла евреи ошибались, ибо я, Мартын Бросций, каноник капитула св. Флориана, много лет знал этого человека и утверждаю, что

ни один из семи смертных грехов не был чужд ему. Он был пьяница, мошенник и лгун, и я давно собирался известить об этом отцов кармелитов, доверчиво посылавших его собирать милостыню и полагавших, что с его толстых губ срывались только одни молитвы. Но к делу это не относится, ибо чудо, произшедшее с этим нечестивцем, не перестает быть чудом.

В пятую седмицу, перед праздником св. Лаврентия мученика, в самый полдень, евреи заманили Павла ласковыми словами в кривые и грязные улицы своего квартала. Здесь, отобрав у него все деньги и сорвав с него ветхую монашескую разорванную рясу, жестокие палачи уложили его на приготовленное для того заранее ложе. Скорбным голосом стал умолять несчастный монах о сохранении жизни. Злодеи же смеялись... Господи, внемли старческому шепоту и словам моим, падающим на сухой пергамент: накажи их, накажи тех, кто избег суда человеческого, дабы знали об этом грядущие века и дабы верные католики не отчаявались... Забыв страх Божий и презирая существующие законы, жиды совершили злодейство, при мысли о котором страшится ум, цепенеют статуты, а святое правосудие требует жесточайшего возмездия. Они разрубили монаха на 22 части, отделив сначала ноги, руки, голову, а затем расекли туловище на 17 частей с таким искусством, которое явно изобличало их глубокое знакомство с анатомией. И в то время, как Мордухай оскверненными устами своими бормотал какой-то чародейский стих, ему одному понятный, остальные злодеи, вынув грешное сердце монаха, с жадностью стали лизать его. Части же тела, отделенные друг от друга, были положены на решето, через которое просачивалась кровь, упадавшая в три подставленные под решето сосуда. Так рассказывал сам потерпевший.

Но не хватило бы у меня сил описывать все это ужасное преступление, если бы я не знал, что в дальнейшем Творец положил предел зверству евреев: Всевидящим оком Своим заметил Господь злое дело и, хотя послушник был недостаточно благочестив для общения с небом, Творец в Своей благости пожалел несчастного и внушил ему мысль вспом-

нить «Песнь папы Урбана», столь помогающую в невзгодах.

Монах бледными, обескровленными губами прошептал три первых слова этой прекрасной молитвы, — и совершилось чудо. Части тела, с соизволения Божия, мгновенно соединились, и послушник ожил. Как некогда Лазарь, он, к ужасу злодеев, встал со своего ложа и спокойно направился к обители отцов-кармелитов, не испытывая никакой боли и не ощущая ни малейших повреждений на своем обескровленном теле.

Поистине, это было великолепное чудо, и я счел своим долгом запечатлеть его для будущих времен, как это в свое время делали Метафраст, Адона и Усуард.

Записав этот случай, я мог бы им и закончить свой поучительный рассказ, свидетельствующий о Промысле Божием, и если я продолжаю, то к тому меня побуждает доброе желание полностью удовлетворить справедливый гнев верующих сообщением о том, какую кару понесли злодеи.

Согласно статутам и коронным законам, генерал кармелитского ордена заявил обо всем этом господину Институтору Светлейшего Трибунала; послушник же Павел протестацию свою дважды подтвердил присягою. В силу сего декретом ясновельможных господ депутатов люблинского Коронного Трибунала предписано было произвести следствие.

Не стану говорить о том, что беспокойное и столь упорное в своих заблуждениях еврейское племя всячески старалось доказать, ссылаясь на действительно имевшийся закон, что дело это не подлежит ведению высокого Трибунала. Ясновельможный суд, в том числе и я, признал, что это нечеловеческое дело подсудно именно Трибуналу, *uti supremo Judicio*, и что только нам надлежит установить справедливую кару для злодеев.

Тревогою и ужасом были объяты презренные, а больше всех трепетал среди них Мордухай и другие призванные в суд вместе с ним.

Тогда обвиняемые как лично, так и через своих поверенных, — докторов медицины и уполномоченного от их синагоги, называемого попросту школьником, — ссылались на

то, что еще король Сигизмунд Август пожаловал им привилегию и льготные грамоты, в которых было сказано: «Обвиняющий жида должен подтвердить свои слова четырьмя ни в чем незаподозренными христианами и тремя такими же жидами». И так как монах не мог представить таких свидетелей, то злодеи просили оправдать их.

С болью в своем сердце услышал я, как старейший из нас и опытный судья, прославленный своими делами, — не назову его имени, дабы не смущать благочестия, — говорил о том, что иудеи правы. В старческом упрямстве своем он не уяснил себе столь простой вещи, что не нужны никакие свидетели, если Сам Господь Бог засвидетельствовал это гнусное дело великим чудом. И какой же свидетель мог бы рассказать больше самого потерпевшего, разрезанного на 22 части.

Увы, не могу до сих пор понять, чьим и каким чарам подвергся престарелый и опытный судья, — не уступал он и логике. Смиренно заговорив со мною, он сказал:

— Предоставим, отец Мартын, Самому Господу Богу карать за дело, которое превосходит все доступное уму и чувствам человеческим.

Действуя так на мое благочестие, старый судья поступил лишь, как поступает в таких случаях Тончайший Доктор, он же Сатана.

И я сказал ему на это:

— Я буду судишь во имя Божие, и Он, несомненно, присутствующий здесь, научит меня.

После этого начался суд.

Памятуя о важности дела, зорко я следил за тем, как присягают вызванные Мордухаем свидетели. Согласно статутам, присягу жиды давали на маленькой скамеечке о трех ногах, под которыми лежала скользкая свиная кожа. Если бы присягающий жид соскользнул ногою с трехногой скамьи, то, по статуту, присяга его считалась бы уничтоженной, а сам он виновным. Долгом считаю записать здесь, что сей справедливый закон не увеличил, однако, числа обвиняемых и не уменьшил числа свидетелей.

Не стану далее записывать сложного для непосвященных судебного производства, установленного еще Цезарем Юстинианом. Укажу лишь, что Святое Распятие все время было перед глазами судей, и, стало быть, обвиняемые получили должное.

Следствие тянулось медленно, но верно. Так, с целью раскрытия того, для каких надобностей евреи нуждаются в христианской крови, Мордухай был предан пытке перед войтовским люблинским присутствием. Но в упрямстве своем он говорил, что евреи ни в какой крови нужды не имеют.

После же того, как он трижды был вздернут на дыбу, отчего руки и ноги его повыскакивали из суставов, и трижды был подвергнут жжению свечами, он добровольно сделал показание, что кровь жидам нужна для смачивания глаз у слепорожденных детей, после чего последние становятся зрячими. Лишь только он сказал это, наступила его смерть, именуемая *turpis*, что значит позорная.

Таким образом, Господь, не пожелав в благости Своей вводить в искушение нас, судей, Сам покарал нечестивца. Высокому суду оставалось лишь, согласно коронным законам, повелеть голову означенного Мордухая посадить на кол на распутьи вне города, а тело его сжечь, дабы не сохранилось и следа от этого нечестивца.

Остальные же иудеи после пытки были оправданы, ибо даже сам послушник Павел не упоминал об них в своей проповеди. Но так как наказанный божеским установлением Мордухай принадлежал к кагалу люблинскому, то постановлено было взыскать с последнего 300 золотых в пользу суда. В пользу же монастыря отцов-кармелитов повелено было забрать все то золото и серебро, что найдется в двух люблинских синагогах, дабы путем очищающего огня наготовить из них костельную утварь. Признаюсь, что на последнем штрафе настаивал я.

Продумав с помощью Господа Бога означенное решение генерального суда Коронного Трибунала, вслух я произнес слова, которые некогда любил говорить его святейшество папа Пий IV:

— *Pro ut in schedula!*

Самый приговор был произнесен *in contumaciam*, о чем при барабанном бое и трубных звуках было объявлено на рынке. И по совести запишу я здесь, что в городе Люблине, даже из людей самых преклонных лет, никто не запомнит, чтобы когда-либо был вынесен приговор более справедливый и мягкий.

В убогой келье моей, где я описываю эту замечательную историю, тяготеет надо мною в предутренний час и одна глубокая печаль. Скорблю я о послушнике Павле из обители отцов-кармелитов. К огорчению верных католиков указу, что милость Божия и великое чудо не вразумили этого негодного. Он не изменил своего гнусного образа жизни, продолжая быть тем же мошенником и лгуном, а позже был еще уличен в краже денег из костельной кружки и в прелюбодеянии со старухой-нищенкой, за что понес должное возмездие.

А теперь, по обычаю многих писавших, возблагодарим Создателя, который избавил нас от недостатков, присущих изображенным здесь людям, и помолимся, чтобы Он даровал нам их добродетели. Аминь.



ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ

Было это в Отранто, вскоре после того, как умер по-велитель неверных Магомет Второй, в неизмеримой дерзости своей полагавший, что ему удастся так легко покорить Италию, как он покорил Византию и множество других земель. После внезапной смерти могущественного султана войско его с позором было изгнано из пределов Италии, и от огромного полчища нехристей в городе осталось незначительное число турок, мирно занимавшихся торговлей и ювелирным делом. О неистовых бывших победителях скоро забыли, и те несколько человек в цветных чалмах, которые робко появлялись на базарах, уже пользовались покровительством нестрогих законов неаполитанского короля.

Однажды, в день св. апостолов Петра и Павла, небольшая группа жителей Отранто расположилась недалеко от города на берегу залива. После душного полуденного зноя и раскаленных каменных зданий, приятно было провести несколько часов у моря, в тени деревьев. К тому же нигде так хорошо не играется в тарок и кости, как на морском берегу, когда начинает дуть предвечерний бриз.

Дети оживленно прыгали по выглядывавшим из воды камням, женщины с затаенным дыханием слушали какую-то старуху, которая рассказывала о том, как один человек съел печень своей жены. Мужчины играли в кости, время от времени вступая в перебранку с рыбаком Антонио. Ему чертовски везло, и партнеры не без основания полагали, что за него играет сам диавол.

Вдруг дети, без умолку трещавшие, как лягушки, сразу притихли, и, подбежав к взрослым, стали указывать им на сверкавший вдали парус, странно бившийся по воде. Потом с моря донесся протяжный крик, повторился еще два раза, и стало ясно, что кто-то тонет.

— Эй, вы, — закричали женщины, обрадовавшиеся слушаю прекратить азартную игру. — Человек тонет!

Игроки, неохотно отрываясь от костей, лениво посмотрели на море, где на ровной глади виднелась торчавшая из воды лодка, о которую цепко ухватился человек, и спокойно стали высказывать догадки насчет того, кто бы это мог быть.

— Антонио, старый черт! — снова закричали женщины. — И ты, Николо, бездельник проклятый! Садитесь же в лодку! Неужели дадите погибнуть христианской душе?

— А в самом деле, Антонио, — сказал один из игроков, пожелавший хоть на время избавиться от счастливого партнера. — Тебе не мешало бы замолить перед Богом свои шашни с дьяволом. Отправляйся в море!

Антонио, которому как раз был черед бросать кости, поднялся с земли, и, прищурив свои старые дальновидные глаза, хрюкло произнес:

— Да ведь это турок тонет, обрезанец. Чего вы всполошились, старые чертовки!

И, бросив в сторону кричавших женщин неприличную шутку о нехристе, Антонио тотчас же вернулся на свое прежнее место.

Старый моряк, зоркие глаза которого охватывали весь горизонт, был прав: действительно тонул турок, неосторожно наскочивший на острый подводный камень.

Женщины поворчали немного, а затем согласились с Антонио, что утопавший турок.

— Пусть тонет, собака! Одним нехристем станет меньше. Их и так много.

* * *

В это время из голубых волн высокого неба показался строгий лик апостола Петра. Услышав весь этот разговор, апостол в сильном гневе хотел было спуститься на землю и предстать перед бессердечными игроками в виде монаха, с суровым словом на устах. Но затем, подумав, что просту-

пок отрантских жителей требует большего возмездия, решил наказать их строже.

Быстро поднявшись на самое верхнее небо, апостол вскоре очутился перед Иисусом Христом, и, целуя Его светлые ризы, взволнованно сказал:

— Разреши мне, Господи, совершить чудо с одним утопающим.

Кроткая улыбка Христа свидетельствовала о том, что Он согласен, и, склонив голову Свою, как это Он всегда делал, говоря с праведниками и детьми, произнес:

— Да будет спасен.

— Нет, нет, Господи, — торопливо заговорил Петр. — Я не об этом прошу Тебя. Я хочу иного чуда. Я хочу, чтобы спаслась группа отрантских жителей, не уразумевших того, что им повелевает долг верующих в Тебя.

— Чего же ты хочешь? — удивленно спросил Христос.

— Какое же иное чудо требуется совершить с утопающим, как не дать ему утонуть?

Все еще взволнованный, а затем и смущенный ответом Христа, Петр сказал:

— Господи, утопающий уже мертв. Позаботимся лучше о живых, которые отказались спасти его, говоря, что он иной веры. Разреши Господи, сотворить такое чудо, чтобы утонувший оказался веровавшим в Царствие Твое. Ибо, увидев труп христианина, отрантские жители глубже и скорее поймут свой грех и покаются.

Тихим, как шелест листвьев, голосом отвечал апостолу Христос:

— Мне приятнее было бы спасти этого несчастного, вернувши ему жизнь. Но ты, названный мною ловцом людей, — ты лучше знаешь людей. Иди и сотвори чудо.

* * *

Вечером того же дня, когда острые звезды усеяли небо, Петр снова стоял перед Иисусом Христом.

Глубокие тени падали на его лицо. Под тяжестью каких-то мучений он весь согнулся, взывающий и уставший. В глазах апостола, полуоткрытых ресницами, блуждало тревожное смущение, подобное тому, какое некогда испытывал он на дворе первосвященника Каиафы.

Христос спросил:

— Ты совершил чудо?

— Я совершил его, — глухо отвечал апостол. — Я сделал из турка неаполитанского рыбака.

— Жители Отранто видели его?

— Да, Господи. Когда спустились сумерки, дети разложили у моря костер. Труп несчастного подплыл к берегу вместе с лодкой, и при свете костра грешники ясно разглядели лицо утонувшего.

— Они покаялись?

Апостол Петр, названный ловцом человеков, виновато взглянул на Христа и, тяжело вздохнув, сказал:

— Напрасной оказалась жертва. Они оттолкнули труп обратно в море и избили одного монаха, который в суровых словах уличал их в грехе бессердечия.

— Это был ты? — с печалью спросил Христос.

Апостол молча кивнул головой.



НОВЕЛЛА 59-АЯ,

РАССКАЗАННАЯ МОНСЕНЬЕРОМ ДЕ ВОЛЬФРЭН

Среди повествований, известных под названием «Становелл» и некогда развлекавших Людовика XI, когда он, будучи дофином, скрывался в Бургундии, есть одно повествование, ныне никому неведомое.

В рукописной копии этой книги, помеченной 1460-м годом, означенный рассказ числился под номером 59-м, но чья-то рука грубо перечеркнула его семь раз и, по-видимому, пыталась вырвать те пять страниц, на которых он был записан. Вероятно, это был благочестивый христианин, которого возмутило кощунственное содержание новеллы. Возможно также, что это был просто веселый малый, не лишенный эпикурейского вкуса: обнаружив, что новелла несколько разнится от безобидно шуточных повествований д'Арманьяка, Понселя, де Санти-Поля и монсеньера де ля Рош, заключая в себе совершенно неуместную для застольной беседы религиозную мораль, он решил пожертвовать ею в угоду беспечности, которой проникнута вся книга. По крайней мере, позднейшие издатели этого замечательного сочинения Антуана де ля Саль благополучно обошлись без упомянутой новеллы, заменив ее веселой непристойностью, рассказанной монсеньером де Ланнуа. Так она и дошла до нас под не принадлежащим ей номером.

Никто не будет отрицать, что от этой замены книга несколько не потеряла и, вероятно, до скончания веков будет служить занимателнейшим чтением для кавалеров и дам. Но на всякий случай не лишним будет познакомиться и с подлинной новеллой № 59, тем более, что заниматального чтения становится все меньше и меньше, ибо нынешние писатели драгоценным даром выдумки, как известно, не обладают.

Издатель.

В одном из городов герцогства Брабантского, о котором здесь уже упоминалось не раз, не так давно проживала молодая дородная вдова, по имени Катерина. Отличаясь привлекательной внешностью и не будучи гордой, она щедро позволяла любоваться собою молодым людям того города, а наиболее настойчивым из них иногда уступала и в другом. Таким образом, и вдове было хорошо, и поклонникам ее отнюдь не плохо.

Однако же среди многочисленных почитателей Катерины был и такой, настойчивость которого ни в какой мере не вознаграждалась. Это был кюрэ, лицом некрасивый, в одеянии небрежный, а главное, очень мало осведомленный в правилах учтивости, до которой падки все женщины, в том числе и самые добродетельные. Чтобы не оскорбить чувства почтенного кюрэ, вдова упорно отклоняла все его домогательства под предлогом того, что он духовного звания и, стало быть, принадлежит Богу.

Говоря так, она ссылалась на свою преданность религии, которую не забывала ни при каких случаях. И это действительно было так, как она утверждала: нисколько не стесняясь себя в любовных утехах, Катерина в то же время преисправно посещала церковь св. Гудулы, где усердно молилась.

Тогда кюрэ, отвергнутый в своих намерениях, крепко затаил досаду и стал внимательно следить за вдовой, чтобы, улучив момент, добиться того, в чем ему было отказано наотрез. Однако, его слежка была безуспешной.

Как раз в это время в город прибыл некий молодой дворянин из Лангедока, любитель путешествий, веселых компаний и красивых женщин.

Случайно он остановился в гостинице, расположенной рядом с пресвитерием, в котором неудачник-кюрэ мечтал о прелестях дородной вдовы. Так как дворянина никто в городе не знал, вероломный кюрэ решил проделать с ним следующую вещь в своих целях.

Втервшись в доверие к лангедокскому дворянину, кюрэ тотчас же дружески указал ему на веселую вдову Катерину, как на достойную его любовного внимания. При этом он

сказал:

— Она изящна, чертовски умна, и все статьи ее могут доставить удовольствие самому королю.

— За чем же остановка? — воскликнул дворянин, воспламененный описанием вдовы. — Укажите мне ее, и она тотчас же будет мною довольна.

Хитрый кюре прищурил глаза и ответил:

— Нет, сударь, это не так просто. Дама, о которой идет речь, не испытывая недостатка в любовниках, имеет склонность только к необычному. И поэтому, если вы желаете добиться удачи, назовитесь Сатаною, Вельзевулом или как хотите, но только не дворянином из Лангедока.

— Если вы полагаете, г. кюре, что это наиболее удобный способ добиться того, что мне было бы приятно, я так и сделаю, — сказал дворянин.

— Но помните, сударь, — заметил кюре, — вы и действовать должны, как Сатана или Вельзевул, и если бы вам пришлось согрешить со вдовой на паперти церкви, то не останавливайтесь и перед этим, ибо кощунство сродни ее сладострастию. А чтобы вдова действительно убедилась, что вы Сатана, вам надлежит, как и полагается нечистому, немедленно при моем появлении скрыться.

Вскоре после того лангедокский дворянин познакомился со вдовой и, почувствовав в себе любовный огонь, сразу же открыл перед Катериной свои пылкие намерения.

А так как вдова отвечала уклончиво, он, помня наставления кюре, тихо проговорил:

— Сударыня, со мной вы изведаете то, чего не знали никогда, ибо я Вельзевул.

Полагая, что это одна из тех шуток, к которым обычно прибегают все ухаживатели, Катерина засмеялась и к настойчивым просьбам его отнеслась благосклонно.

Этот разговор происходил у церковной ограды и, чтобы не терять времени на поиски удобного помещения, нетерпеливый дворянин стремительно повел вдову на колокольню церкви.

Междуд тем, кюре, неотступно следивший за парочкой, тихонько последовал за ними, приготовившись к победе.

Дождавшись разгара любовной баталии, кюрэ внезапно показался у площадки в изгибе винтовой лестницы и, совершив крестное знамение, воскликнул:

— Сгинь, сатана!

Дворянин согласно уговору, не преминул тотчас же скрыться, хотя предпочел бы повременить немного, и оставил кюрэ наедине с Катериной, смущенно оправлявшей свое платье.

— Знаете ли, сударыня, что вы совершили? — в притворном ужасе закричал кюрэ. — Мало того, что вы согрешили против законов человеческих, но вы еще согрешили против законов божеских, ибо вверглись в разврат в помещении храма ни с кем иным, как с Сатаной.

Тут, припомнив, что дворянин называл себя Вельзевулом, Катерина всплеснула руками и обомлела от страха.

— Собственными глазами своими я видел его хвост и маленькие копытца, — продолжал кюрэ. — Несчастная, вы тотчас же должны предстать перед судом епископа, и он по всей справедливости предаст вас очищению раскаленным железом, как того требует святая церковь.

При этих словах Катерина вскричала:

— Ради Господа Бога, сжальтесь надо мной!

Тогда кюрэ, решив, что достаточно напугал женщину, сказал ей:

— Единственное, что я могу сделать для вас — это несколько очистить ваше тело от мерзких прикосновений Сатаны. Для этого вы должны сделать со мной то же самое, что пытались сделать с ним, и с таким же рвением.

Но так как кюрэ, в предвкушении удовольствия, дал слишком большую волю своему нетерпению и поспешно привлек Катерину к себе, он тем самым заставил ее догадаться, что дело обстояло не так серьезно как он утверждал.

— Не торопитесь, господин кюрэ, — сказала она. — Я обдумаю ваши слова.

— В ваших же интересах я должен поторопиться, — отвечал священник, изнемогая от любовного огня, который нарумянил его тонзуру.

Окончательно подавив в себе смущение, Катерина с улыбкой сказала:

— Господин кюрэ, не отрицаю, что я совершила грех. Но мне, верующей христианке, все же приятно сознавать, что грех был совершен велением Сатаны, а не попущением Господа Сил. Вы же, склоняя меня повторить грех в святом месте, да еще с вами, непременно хотите в соучастники преступления призвать церковь, которой вы служите. Не лучше ли, святой отец, предоставишь зло Сатане, чтобы для Господа оставались только дела добрые?

Пораженный ее ответом, который был составлен по всем правилам богословской эристики, кюрэ широко разинул рот и онемел от удивления, что дало возможность Катерине прошмыгнуть мимо него и быстро спуститься вниз.

Там ждал ее дворянин, с которым они вместе разобрались в проделке кюрэ, а затем с лихвой вознаградили себя за потерянное время.

Ввиду позднего часа, с вашего позволения, я рассказал эту историю вкратце. Она достоверна, как евангелие и, кажется, не лишена занимательности.



ОТКРОВЕНИЕ

Николаю Лернериусу

БЕРНАР, ЕПИСКОП ТУЛУЗСКИЙ, ПРИОРУ
ГРОММОНСКОГО МОНАСТЫРЯ АМИЭЛЮ

Bо имя Отца и Сына.

Возлюбленному брату Амиэлю истинного блаженства и вечного спасения во Христе.

Трепетно поспешаем отправить сие послание и пишем его христианского спасения ради.

Известно тебе, Амиэль, какому поруганию предана ныне святая Церковь и как скорбят верующие о безумии нечестивых еретиков, кои множатся и поднимают головы и сворачивают в свою сторону немощных духом; водители же их (не буду называть дерзких, дабы не оскорблять зрака твоего) зубы имеют, как стрелы, а язык, как остро отточенный нож. Скорблю об этом и я, последний и ничтожный раб Спасителя нашего и трепещу от боли. Между тем непрерывающейся струей течет кровь Церкви, пролитая мечом, языком и низким предательством. Неужели не остановим ее?

Так думал я и скорбел много дней и ночей, сокрушением перебирая в уме святотатственные деяния презренных еретиков, о коих слышу каждодневно и тебе тоже ведомо не мало. Можно ли спокойно читать бревиарий и видеть, как растаптывают ногами Святые Дары и мощи разбрасывают по распутиям? Можно ли без ужаса помыслить, что при том ухищренно обнажаются тайны, знать каковые не должно до скончания века? Заставляет рука моя, наносящая на пергамент эти страшные слова и никнет старое сердце.

Ведомо тебе, Амиэль, что некогда я священнослужительствовал в Турени, в том славном монастыре на берегу Луары, где покоятся мощи св. Мартына Турского, чудодей-

ственныи и всеисцеляющи. В недрах души моей, уже тяготеющей к вечеру жизни, я любовно сохранил много повествований о чудесах, мощами творимых, и для описания их потребовалась бы особая книга. Но одно из них выжгло в памяти моей неизгладимый знак твердой несокрушимой веры. Может быть, и ты, Амиэль, слышал про это повествование?

В те давние времена, когда в наказание за тяжкие грехи Господь насыпал на нашу землю полчища языческих норманнов, святые отцы справедливо вздумали перенести мощи св. Мартина в Оксер, дабы предохранить их от вражеского осквернения. И было это сделано скоропоспешно, как случается при несчастиях, никем не предвиденных.

Между тем, недалеко от Оксера проживали двое калек, добывавшие обильную милостыню через убожество свое непоправимое. Узнав о том, что святые мощи приближаются, оба они, испугавшись возможного исцеления, каковое лишило бы их сладкого куска хлеба, оставили привычные им места и с наибольшей для них быстротой стали удаляться. Но скоропоспешная процессия с мощами нагнала нищих и, к прискорбию своему, означенные калеки были тут же исцелены. Вот какова благодать веры для немудрящих и простых сердцем, и ради их спасения не должны ли мы содеять все от нас возможное, дабы сохранить им верное прибежище?

В размышлениях об этом я провел долгие часы в моей убогой келье, призывая имя Божие в помощь своему слабому уму. Знаю, что недостоин; знаю, что многогрешен. Но я молил Его, Господа неведающих, ниспослать мне предвидящий дух ради утверждения основ святой религии и для утешения горестных душ. Не внял моей молитве Господь.

Тогда, предав себя трехдневному посту и молению, как это полагается по правилам, я удостоен был свыше внезапным откровением.

Было это на третий день после св. Варфоломея, в час предутренний. Я преклонил колени и шептал «*Salve Regina*». Через решетку моей кельи я видел Млечный путь и

ясно различал, как становится он все светлее и светлее. Я понял, что это предвещение чуда и возликовал. И тогда я узрел, как Млечный путь опустился до самой решетки и по нем, сверкая белыми ризами, шествовала Дева Мария. Голосом сладким и нежным сказала она мне с печалью: «Бернар, служитель мой возлюбленный! Совершаются злые деяния. Двуногие волки потрясают Мой храм. На распутиях лежат кости святых и засыпаются навозом. Скорблю об этом безмерно и потому приказываю тебе: укрывай святых, как находишь возможным; гробы же их оставляй только видимыми, дабы верующие имели утешение и не отчаивались. Я же беру все на Себя».

Сказав это, Она молча удалилась по той же богошественной стезе, и я внятно слышал тихий шелест Ее риз.

Поставленный этим откровением на путь истинный, я, сколь могу, раскрою тебе, Амиэль, смысл сказанного, а ты, вникая в мои слова, не забывай, Кем продиктовано мое послание. Перо же, его писавшее, как видишь, было омочено в источнике благодати.

Укрывать святых — означает прятать мощи их от взоров нечестивцев в места невзрачные или далекие; оставлять гробы только видимыми должно понимать так, что надобно класть всякую всякую ветошь для заполнения, дабы верующие могли думать, что мощи под покровом пребывают в полном благополучии. Последние же слова Богоматери понимаю я так, что учинившим все это никакой порухи по совести не будет, а когда наступят сроки, святые сами вернутся на свои места

К этому говорю тебе, Амиэль, что слушающий меня Ее слушает, почерпнув для себя вечной мудрости.

И еще говорю: зорко смотри за теми, что живут с тобою в Господней овчарне, дабы не обманывали Господа своею тонзурой. Не мешает им часто напоминать слова св. Григория: «Кто страшится исповедовать истину на земле перед людьми, того постигнет гнев самой истины на небе».

Призываю на тебя, сколько в силах, святое благословение, мысленно и явно, — смиренно прошу, чтобы ты не упрекал меня за то, что я не украшаю своего послания благо-

уханными цветами Святого Писания: перед глазами моими висит Распятие Господа нашего Иисуса Христа, который Сам есть мудрость и лучший цветок. Аминь».

На маленьком клочке пергамента той же рукой, но торопливо и небрежно написано:

«Если желаешь приобрести нашу благосклонность, это послание положи в раку св. Стефана под покрывало и без промедления отправь такое же послание от своего имени в Сен-Жиль, дабы положено оно было в киворий св. Эгидия. Такое же послание с верным апокризиарием отправь ко всем подчиненным тебе монастырям и по другим монастырям. И да будет ведомо всем вам, в том числе и тебе, что никаких возражений на сказанное мы, епископ Тулузский, не потерпим. И еще твердо помни, что ныне, когда еретическая ржавчина, с одобрения его святейшества папы Гонория, уничтожается огнем, ныне — смерть и жизнь во власти языка».



КОРОТКАЯ СКАЗКА

1

Хайт, царице всей Нагаранны, шел у тридцать второй год, когда в сражении с одним из беспокойных племен, населявших Гаулан, погиб ее отважный супруг.

О Хайт говорили в народе, что она добра и сострадательна к бедным, и потому вся Нагаранна с радостью признала ее правительницей, хотя в обычаях того времени редки были случаи добровольного вручения царской власти слабой женщине.

Два года ее царствования протекли мирно и благополучно. Путем торговых договоров удалось заключить мир с Мидией, Ликией и Педазосом, беспрерывные войны прекратились. Но в третий год дыханием восточного ветра занесло в Нагаранну неведомую болезнь, от которой погибло множество народа. С того времени царица Хайт охладела к делам государства, замкнувшись в размышлениях о суетности жизни. Страной же стал управлять ее маг Умбадара.

Печальная и тоскующая, бродила Хайт по своему дворцу, и ничто не могло заполнить пустоту, выжженную в ее сердце холодом рассудочности. Перестали ее занимать и дворцовые интриги, к которым чувствовала склонность еще с одиннадцати лет, когда сделалась супругой покойного царя.

Тщетно старался маг Умбадара развлечь ее разными зрелищами, для чего из далеких стран приглашал людей, обученных искусству смешить. Маски фигляров очень быстро наскучили ей, и неизбывная тоска давила ее по-прежнему.

Преданный маг напрягал все усилия своего старого мозга, чтобы найти интерес для нее в жизни, и пробовал даже посвятить ее в тайны сложной науки о влиянии планет на судьбы людей. Но первые же уроки еще более убедили Хайт в непостоянстве вещественного мира и, изнемогая под

тяжестью мыслей, жаливших, как скорпионы, она затосковала сильнее прежнего.

— Не послать ли, госпожа моя, — спрашивал ее Умбадара, — быстроногих гонцов в страну Ароматов или страну Пунит, чтобы привезли они благовонных курений?

— Нет, добрый Умбадара, — отвечала Хайт, — не надо. Благовонные курения не излечат тоски моей.

Маг скорбно опускал седую голову и огорченно вздыхал.

2

Случилось так, что прислуживавшая Хайт рабыня-эфиопка заговорила однажды о живых радостях материнства и замечталась о будущих своих детях. Хайт жадно выслушала ее и вдруг затрепетала от восторженного безумия: никогда она не была матерью. В ту же ночь рабыня тайком привела к ней в опочивальню стройного юношу. До самого утра пробыл он у царицы и покорно, как женщина, делал то, что она приказывала.

Судьба, однако, не была благосклонна к Хайт и ни этот юноша, ни все остальные, кого выбирала для нее рабыня-эфиопка, не дали ей изведать сладкого счастья стать матерью: бесплодие ее было отмечено роком.

Зато тайные встречи, тревога ожиданий и опьяняющая власть первых слов разбудили в ее сердце неутолимую жажду настоящей любви, которой Хайт еще не знала. И вот, почувствовала она, что долго отыскиваемый смысл жизни был, наконец, найден: полюбить и быть любимой.

— Добрый Умбадара, — сказала она однажды магу, — добрый Умбадара, я хочу узнать настоящую любовь.

Умбадара был стар, и любовные утехи уже казались ему ненужным пережитком прошлого. Но, как опытный царедворец, он соразмыслил, что лучше ему подыскать ей любовника, нежели ждать, пока она это сделает сама.

Он радостно кивнул ей головой и торопливо ушел от нее, точно сейчас же хотел исполнить ее пожелание.

Но не так понял тоскующую Хаит старый маг. Он уже забыл, что такое настоящая любовь, и думал, что, окружив Хаит красивыми юношами, даст ее томлению верный исход. Он упустил из виду, что хоть и пахли губы Хаит миррой, нарумянены были кончики ее пальцев и благоуханны были следы ее сандалий, но время отняло у нее безжалостно то, что одинаково ценно и для царей и для смертных. Как и все женщины ее страны, в тридцать семь лет она уже была стара, и никакие снадобья не могли сгладить ее морщин. Не загорались у юношей глаза при ее появлении, и хотя избирала она для любви наиболее достойных из них, но скоро убедилась, что одни любили ее из страха, другие по долгу, третьи — ради карьеры и богатства.

И в тиши душных ночных, когда воздух был недвижен и напоен зноем, неслышно выходила Хаит из своей опочивальни и прокрадывалась на маленький дворик, где журчали водометы.

Тут, предаваясь пышным мечтам, вслух называла она себя голубой птичкой, зарей утренней и предвечерней звездочкой. Никогда никто так ее не называл, и уху ее было приятно слушать, как звучат ласковые слова.

3

Случилось далее так, что маг Умбадара в тщетных поисках развлечений для Хаит задумал, как это делалось многими из властителей, созвать из разных стран опытнейших и лучших рассказчиков. К тому времени умом царицы Хаит от неустанных мечтаний овладели украшающие жизнь вымыслы, и план Умбадары показался ей занятным. Она дозволила ему отправить гонцов во все страны к северу и востоку, чтобы объявить о своем желании, а в посланиях, которые были даны гонцам, повелела указать, что тому, кто расскажет самую короткую сказку, будет щедрая дана

награда: яшмовый ларец, покрытый рубинами, в нем 24 золотых кольца, семь лазоревых камней, что привозятся купцами из страны Элам, и драгоценный скарабей, предохраняющий от злых сил. Так говорилось от имени Хаит, царицы всей Нагаранны.

Много месяцев спустя прибыли гонцы, а вместе с ними и рассказчики. Было их семь.

Окруженная свитой и прекрасными юношами, ласково принимала их царица Хаит, сидя на троне из золота и слоновой кости, как это было предписано обычаем.

Первый рассказывал об одном муже, который прежде, чем стать человеком, был растением, рыбой, птицей и, наконец, зверем. Предчувствуя близкую смерть, ибо уже был насыщен днями, он все же взороптал, и в молитве, обращенной к богам, напомнил им о том, что еще не был насекомым.

Выслушав сказку, Хаит улыбнулась. Прочие же выразили одобрение неудержимым смехом, который перепугал всю рыбу, находившуюся в водоемах.

Второй говорил об одном философе из города Феста, внезапно уснувшем в то время, когда поучал своих многочисленных учеников вечным истинам. Он проспал шестьдесят семь лет, и, когда проснулся, продолжал свою речь с того самого слова, на котором остановился. Слушатели встретили его речь насмешками, а его самого назвали обманщиком. Нашелся даже такой, который занес над ним нож. До самой смерти философ не мог понять перемены, произшедшей в людях, и упорно продолжал учить своей истине, не догадываясь, что за шестьдесят семь лет она превратилась в ложь.

Третий, четвертый, пятый и шестой рассказали истории не менее поучительные. Слушая их, царица Хаит забывала о своей запоздалой жажде любви и улыбалась.

Седьмой сказал так:

— Был я на острове Ази, пробирался к Родосу, был в стране ахеян и данайцев, доходил даже до далекого Гадира, где много свинца и серебра. Всюду имеются люди, искусно умеющие рассказывать, и множество чудесных историй узнал я от них и мог бы тебе передать, повелительница. Но ты непременно хочешь самую короткую, а, стало быть, самую значительную историю. Изволь.

Испустив глубокий вздох, он сказал:

— Известно ли тебе, царица, что до нас жили на земле Атланты, до них Лемуры, до Лемуров Гиперборейцы? Знаешь ли, что с ними стало? Гиперборейцы были поглощены землей. Лемуры были поглощены огнем. Атланты — водой. Известно ли тебе, что предстоит нам?

И, обведя глазами всех присутствовавших, которые от его слов были объяты великим смущением, произнес:

— Мудрецы утверждают, что мы погибнем от четвертой стихии — от воздуха. И, кто знает, может быть, это случится завтра. Так вот, повелительница, не есть ли это по справедливости самая короткая сказка?

В это время Хайт заметила, что некий юноша, находившийся в числе ее свиты, один из тех, которые предназначались ей в возлюбленные, внезапно побледнел и умоляюще протягивал руки.

— Что с ним? — спросила Хайт.

— Госпожа моя, — вскричал юноша при общем смятении, — ты слышала, этот мудрец говорит, что мы завтра погибнем.

— Что же из того? — улыбнулась Хайт.

— В саду у реки, — задыхаясь, продолжал юноша, — меня ждет возлюбленная. Пока я нахожусь здесь, быстро уходят мгновения, потерянные для любви. Госпожа моя! Дозволь мне тотчас же покинуть твой дворец и побежать к девушке. Рядом с нею я хочу встретить смерть, которую готовит нам стихия. Я умоляю тебя, госпожа!

Жадным взором окинула царица Хайт говорившего юношу, и прошептали ее уста:

— Так вот какой должна быть настоящая любовь!

Потом заплакала и, ломая руки, быстро покинула свой трон, устремившись в опочивальню. Здесь дала она волю своим слезам и проплакала до вечера.

Когда же на небосклоне задрожали пурпуровые пятна, к ней был допущен Умбадара.

— Госпожа моя, — робко сказал маг, показавшись в дверях. — Я бы не посмел тревожить твоего царственного покоя, но чужестранные гости ждут. Не укажешь ли ты, кому из них выдать награду?

Не отрывая головы от подушек, Хайт сквозь слезы тихо прошептала:

— Юноше.

Затем прибавила:

— Тому, я не знаю как его зовут, которому была дорога каждая минута любви.

— Повелительница! — с тихим ужасом в потухающих глазах произнес маг и затрясся, как в лихорадке. — Посуди сама, — продолжал он, — своим неслыханным поведением этот дерзкий расстроил тебя и нарушил порядок. Чужестранцы могут разнести о нас дурную славу. К тому же он был самый красивый из юношей, и я полагал, ты отметишь его своим милостивым вниманием, а он осмелился полюбить смертную.

— Не спорь, добрый Умбадара, — с печальной усмешкой сказала Хайт. — Я знаю, что делаю. Самую короткую сказку рассказал он. Не спорь.

— Поистине короткую! — глухо прошептал маг, падая ниц перед плачущей Хайт. — Поистине короткую, потому что я приказал его казнить.

ПОЭТ

Фил написал уже двадцать семь сочинений, не считая дистихов и эпиграмм, а его все еще не называли великим и упорно не давали никакой придворной должности. Он злился, негодовал и возмущался людской глупостью, которая не умеет быть справедливой. Кроме того, он проклинал судьбу, одновременно с ним возраставшую Максима Плануда, который забрал себе всю писательскую славу, отпущенную на Византию. Фил пытался написать на него донос, но, изощренный в искусстве сочинять только хвалебные гимны и панегирики, остался недоволен своим двадцать восьмым произведением и разорвал его в клочки.

В такие минуты, то есть когда внутри его клокотала ненависть, а на зов ее сбегались слова, бессильные дать ей исход, он вспоминал, что занимается еще агиографией, и начинал прославлять апостолов, пророков и святых, а особенно иконы. Эти бескорыстные гимны, исполненные пафоса, утверждали перед ним самим его поэтическое священное служение, которое возвышало дух. И, так как ненависть — к счастью для поэзии — посещала его часто, он написал множество звучных гимнов, в которых огонь мелочной злобы, помимо его воли, превращался в молитву.

Но агиография, будучи весьма почтенной отраслью поэзии, никак не увеличивала его славы, ибо кому же неизвестно, что таковая создается людьми, имеющими власть и влияние.

Поэтому Фил, считая себя призванным к высокому назначению, отбросил в сторону святых и апостолов и устрелил свой необузданый талант на дело прославления пинкернов, коноставлов, протостраторов, екклесиархов, синкелариев и других вельмож, с тайным намерением достучаться словесным стуком до их неприступных сердец. Это были эпиграммы, сложенные в виде акафистов и расцвеченные трижды крашеным пурпуром красноречия. На пер-

гаменте они были начертаны киноварью.

И это помогло. Отправляя посольство в Тавроскифию, Базилевс Андроник, по напоминанию Великого Доместика, за день до того превознесенного в пышной оде поэта, подумал о Филе и приказал ему быть апокризиарием для столь важного дела, как заключение брака между ханом Золотой Орды и дочерью Автократора Востока.

Путь корабля лежал в Фасис. Дул легкий попутный ветер. Невдалеке задумчиво скользили зеленые и желтые паруса рыбачьих лодок. Вокруг корабля резвились и фыркали веселые дельфины, напоминавшие безмятежных детей. Было тихо и прекрасно. И поэт Фил, упоенный величавым морским простором, ощутил в себе нежный трепет спокойной мысли, которая сама для себя находила нужные слова.

Так, вдохновленный морским простором, он тут же на палубе сочинил поэтическое рассуждение о человеке, беседующем со своей душой. Закончив творение, он самодовольно улыбнулся и злостно высунул язык в сторону Девяти глав Святой Премудрости, где суетливо копошились те, перед которыми он еще недавно расточал пышные слова.

Его посольство было удачно, но в придворной суете тотчас же забыли о поэте. Он снова негодовал, возмущался и в тиши своего дома, прикрыто го платанами, измышлял злые упреки и доносы, которые, однако, падали на пергамент в виде листивых панегириков.

В это время от неведомого поветрия умерла его жена, оставив ему полный дом детей. Чистую скорбь по ней он испытывал четыре дня, а на пятый подумал о том, почему бы ему не воспользоваться удобным случаем, дабы напомнить о себе лишний раз и в совершенно иной форме. Его жалобное, смиренное и скорбное послание к императору, написанное шестистопным ямбом, вышло удачным. Оно звучало трогательно и прекрасно, особенно в той части, где поэт говорил о своем убожестве и называл себя безукоризненным рабом.

После торжественных гимнов, звучавших как пасхальные симандры, ему так понравился смиренный тон его новых произведений, что он решил изощряться в них еже-

дневно и ежедневно отправлял такое послание всем тем, кому он прежде подносил свои оды и получал за это золотой семисис.

Однажды он написал молодому деспоту Константину:

«Ты прекрасный господин, а я твоя собака. Я громко лялю, но это потому, что мне хочется мяса. Вседерзающий львенок, накорми собаку».

Львенку понравилось необычное обращение, и он приказал выдать голодному поэту целого быка. Вместе с тем великодушному деспоту захотелось узнать, как выглядит поэт, и он велел его позвать.

Фил явился немедленно.

Его далматика была туго стянута поясом. Он учтиво поклонился и сказал:

— Подобно скифам, которые от голода стягивают живот широким поясом, я поступаю так же. Об этом писал еще Ересистрат. Я же видел это своими глазами.

Деспот посмотрел на его мохнатую бородавку у носа и с омерзением спросил:

— Неужели ты голодаешь, несчастный?

— О, человеколюбец! — плаксиво воскликнул Фил. — Судьба более милостива к творениям, нежели к их творцам: в то время как свитки с моими стихами пребывают в золотых шкатулках, я пребываю в нищете и забвении. И, видя меня нагого, неужели ты, золотой благодетель, не уделишь частички одежды для моего зябкого тела? Блуждая мыслями в небесах, я не умею думать о земном.

Деспот, утомленный его плаксивостью, приказал выдать ему шерстяной материи и заметил окружающим:

— Он мне противен. Неужели таковы все поэты?

Фил же, радостно принимая дар, думал:

— Древний софист Зиновий утверждал, что фиссагеты, приносившие в жертву богам кости, сами съедали мясо. Это было неглупо с их стороны. Боги же, приемлющие столь дешевую жертву, глупы несомненно.

Так он жил, унижаясь и попрошайничая, ученейший поэт, ритор, агиограф, связанный родством с славным и знатным родом Мелиссинов, и прожил долго. После внезапной смерти его от несварения желудка, в шкатулке с рукописями и золотыми солидами был найден написанный его рукою анонимный донос на Анему, императорского зятя. Почитая поэзию и будучи покровителем Фила, Анема без всякой огласки уничтожил неизданное произведение поэта и, вознося псалмы смерти перед осьмиглавым Крестом, горячо молил Иисуса и Приснодеву отпустить почившему все его грехи.

По его же настоянию симандры близлежащих храмов в день похорон гулко изливали неподдельную печаль.



ДИОНИСЬЕВА ИКОНА

Писал игумен грозное послание заволжским старцам, изливая на них строгие словеса за еретицкую нерадивость ко Христу, а сам крепко думал о княже Федоре Борисовиче. Туто же он в Волоке Ламском жил и удел свой имел, а благодать духоносная мимо него шла.

Скорбя душою, пылал гневом на него игумен: пошто скачет и рзает, уподобляся жеребцу? пошто бесовскую славу творит, позорища, играния собирает и в двор свой к жене скомрахи и сквернословцы приводит? какой прибыток ему есть над птицами дни изнуряти? какая ему нужна есть псов множество имети? пошто скудную церковную казну в монастырех Возмицком и Селижарском поотымал, а ныне до Волоколамской обители богопротивно добирается?

Весь день читал игумен Триодь постную и Толкование Златоуста, а в душе не кротость плавала, но лютость кипела.

Не держал князя во чти, ибо не христолюбец был, такой же, как и родитель его Борис, умовредный осударь, не по Бозе ходяща, душу свою граблением монастырей на веки погубивший.

И чтобы гневное кипение излить, стал письмо против жидовствующих писать, кои главизны божественного писания кривосказуют и звездозаконию учат. Особливо же против злобесного волка Зосимы, коий иконы, треклятый, почитает болванами.

И когда ввечеру колкое слово придумывал, чтобы пре-больно заволжских старцев уязвить, пришел старый чернец, поутру в княжий двор посланный, — в рубище изодранном, босый и в лице белый.

— Увы мне! — сказал чернец, низко кланяясь. — Уж лучше бы, святый отец, быть мне твоим жезлом на смерть убиту, нежели от богомерзкого князя-заики безвинное мучительство принять. Приказал он своим холопам бить меня батогами.

Встрепетнулся игумен: благочестившего старца батогами бить!

— Како аз сказал ему, богопротивному, чтобы должны нам ста рублев вернул, так и распалился.

— Может, со сна встал?

— Не со сна, но от бесчинства. Егда аз пришед, бесовское позорище творилось, а ему вслед тучная трапеза началась. По сию пору пианство идет и сквернословие совершается. Сам же князьстыдкие мирские словеса глаголет и бабской мухоярой телогреей покрываются.

— А писания божественные укорял? — хмуро спросил игумен.

— Того не было, святый отец, но о вере любопрение творилось.

Отложил в сторону перо свое игумен и поник с воздыханием: втуне и всеу были его наставления. Как был княжа, яко аспид глухий, затыкающий уши свои, так и остался. Не желал блюсти законы священные, уставы апостольские, ни правила седьмистолпные. Не восхотел духовносных мужей слушати, но одно только на уме у него — сластолюбие да веселье, латынска мудрствуя, и от монастырей стяжание.

Приказал игумен чернецу прочь идти, а сам в келии тихой погрузился в помыслы разные: не быть ли челом государю великому князю Василию Ивановичу всеа Русии, чтобы он смиловался и, Бога ради, взял в свою державу монастырь Пречистыя. Не волочиться же ему и братии по чужим монастырем: ни силы нет для того, ни имения.

Так и содеял. Написал печаловное послание великому князю, да еще туда же в Москву Симону митрополиту. Что Бог даст!

* * *

Того ради брань великая на монастырь и воздвиглась. Почекалось насильство удельное и пря словесная, изошедшая

от завистного злого глагольника архимандрита Возмицкого Алексия: возревновал он славе монастыря Волоцкого и стал умовредного князя Федора подговаривать игумена с братией изгнать, а рухлядь монастырскую в Возмище перенести.

Перекинулась неизреченная пря из столичного города в первопрестольный, от епископов к архиепископам. А игумен тем временем неблагословенную грамоту получил: мол, великое бесчиние содеял, — в державу отошел без благословения своего владыки Новгородского. Перепуталась пря зелным клеветанием, ябедою, изветом и неправдою, понеже не дошла до суда велиокняжеского и святительского: иначе судится прост человек, иначе священник.

Полагали одни:

— Волен князь Федор в своем монастыре: хочет жалует, хочет — грабит.

Другие же судили иначе:

— Никогда того не бывало в нашей рустей земле, чтобы церкви божии и монастыри грабили.

Долго сварились, а в конец вторые первых богонаученным коварством посрамили и в темницу их ввергли. Святители же, князю Федору согласники, у великого князя остались в немилости.

От долгой браны истощились силы у игумена и посетил его Господь немощию да и ветх был деньми. Уже полтретья года на одре лежал.

И поразмыслил тако:

— Уж есмь ближайший ко гробу телом. На всякий час смерти чаю. Потороплюсь у князя прощаться. Егда строгостью не смущил его, покушусь добротою.

И призвав к себе келаря Феофана, нарочитого иконника, приказал ему лучшую из икон принести, грецкого письма или какого иного, чтобы мздою князя уласкатъ.

— Не Дионисьева ль письма, прикажешь, господине? — спросил келарь.

— Дионисьева? — повторил игумен и сам смущился: первый изограф был монах Дионисий, в живописцах превиящный; на Кубенском озере жил, и благодать Божия ки-

стью его водила, духоносные образа писал и, глядя на них, каждый чистую радость познавал. — Неужли отдать сквернословцу и еретику согласнику?

Пожевал старыми сухими и синими губами, покряхтел и поборол досаду:

— Отнести икону князю Федору без мотчания. К ней послание мое приложити.

Взял перо в руки и, прежде нежели хромой келарь из келии выйти успел, скоропоспешно написал:

«Не лепо нам, княже, враждовати друг на друга. Суетное то есть велемудрие, Господу неугодное. Да не будет в нас разори. Давай, господине, взыщем разума божественных писаний и помиримся, храняще заповедь Христову о человеколюбие. Покажем иным — ты княжа, я смиренный молебник — како надо соблюдати Закон Божий. В знаменье прощения досылаю тебе чудную икону искусного письма, не по плотскому умыслу писанную. Благословил тебя родитель Волохой, Ржевой, Вышгородом и Шопковою слободою. Я же, худой и смиренный мних, благословляю тя иконою нарочитого письма».

* * *

Пил княжа Федор Борисович златоструйную романею и слушал смехотворную притчу от проезжего гречина-мимохода, льстивца и скомраха. Фрязское вино душу приводило в распадение и удаль гнало наружу: на-двоем, сказывают, вино разлучается — умным на веселье, а безумным на погибель. Принесли князю сагадак золотой с яхонты, лук с налучьем и колчан, стрелами набивный. Стал княжа меткость доказывать: куда хочет, туда и угодит. Рядом с ним отрок Митя стоял, лицом белый, губам алый, весь нежный — ни дать, ни взять царевна Милонега из баснословья.

А княгиня Марья, давно уже князю постылая, из оконца теремчатого посматривала и, тафтой Венецайской прикрываясь, не на мужнее удалство любовалась, но зорко сле-

дила: правду ли мамка говорит ей каждодневно — злейше девок блудливых отрочата голоусые суть.

Тем часом келарь да большой подчашник, да четыре-надесять черньцов чудную икону принесли. Прочитали князю послание игумена, а потом икону показали, покровы с нее снявши.

Воззрился князь и много преудивлен был. Дивный лик Пречистой мудрым живописцем преизящно был изображен. В лазоре глава ее плавала и уста улыбались нежно. Мнилось, будто шептание изрекают. Не взмог князь взора своего от иконы отвести и сам отнес ее к себе в хоромы, под ноги не глядя, но в образ очами прикованный: возгорелось сердце его огнем и восхитихся безмерно. С собою только отрока Митю позвал и, указав перстом на образ, сказал с волнением душевным:

— Смотри, Митюк, с тобой схожа. Как и ты нежна, круглица с красными ланитами. Скуден умом игумен: не по плотскому умыслу писанная, говорит. Чего более плотского! Хоть возьми и целуй.

И привлекши к себе отрока, ласково погладил его и поцеловал в уста алые.

Княгиня Марья, в щель глядевшая, слезами оросилась и подумала:

— Прости меня, святый Боже, но голоусому жеребенку лютого зелья дам, икону же, в срамный соблазн совращающую, изничтожу в конец.

Так и было. Оттого про чудную икону Дионисьева нарочитого письма никому более не ведомо было. Сгинула безвестно.

ПРИДВОРНЫЙ ХУДОЖНИК

I

В 1716-м году Великий Петр отписал своей супруге-государыне в Берлин из Экестоля:

«Катеринушка, друг мой, здравствуй. Попались мне навстречу итальянской посол Беклемишев и живописец Иван Никитин. И как оне предут к вам, то попроси короля, чтобы велел свою персону ему списать; также и прочих, каво захочешь, дабы знали, что есть и из нашево народа добрые мастера.

Неведомо, списал ли той Никитин персону немецкого короля, нет ли, но зато ведомо, что сей любимец его величества три года побывал в чужих краях и через особую милость владетеля Тоскании Косьмы III получил в наставники Флоренской академии художеств профессора Томаса Редю.

И еще ведомо, что был царский указ, коим повелевалось «означенному живописцу Ивану Никитину для житья его в Италии триста рублей червонцами или ефимками по-всягодно переводить, доколе он там жить будет».

А художник он был искусный и через это был многажды взыскан похвалою государя, особливо же дарением дома на Мойке близ дворца. Да и в Юриале Петра Великого и днес прочитать можно примечательную ведомость: «На Котлине острову перед литоргией писал его величества персону живописец Иван Никитин».

Писал он еще портреты и императрицы и великого князя и великих княжон Анны, Елизаветы и Натальи, а также разных высокошляхетных урожденцев, как Голицыны, Долгоруше, Строгановы.

А когда Великий Петр в вечное блаженство отошел и на престол вступила Екатерина, то и тогда не было Никитину никакого помешательства и утеснения и даже прика-

зано ему было списать почившего государя в усопшем виде. И милость к нему царская никак не ущербилась, а на против того — преумножилась: пожелала сама государыня выбрать ему невесту.

Но понеже покойной государь жаловал браки русских людей с иноземцами и того ради учреждал ассамблей, где молодые люди знакомились в разговорах и танцах, — то и монархия того же для возымела желание поженить Никитина на иноземке. Так и случилось.

II

Был у Екатерины в отменности верный камердин из курляндцев Фридрик Маменс, а у него были две дочери, Анна и Мария. Первая при царевне Анне Иоанновне состояла, а другую государыня при себе имела в камер-юнгферах. И когда Фридрик отходил от света, то слезно просил государыню милости для своей младшей Марии. Тою Марию и изволила императрица выдать за Никитина.

В скорости после свадьбы переехали молодые в Москву в собственной Никитина дом у церкви Ильи Пророка, что на Тверской и зажили в роскошестве, подстать столбовому дворянину, хоть сам он был из духовных и в молодости даже на клиросе пел.

Горницы у него были барские, новоманерные. На стенах шпалеры были поделаны зеленого цвета преузорочной работы на желтой земле с поталью. Спальная была на манер голландской, с альковом на точеных столбиках с холщовым подбоем, а над ложем спускался байберековый намет. Была еще одна горница с живописью по стеклу в свинцовых рамках, просторная, тихая. Здесь Никитин в тиши мастеровал и в привезенных из чужих стран курантах растикал краски.

К тому времени скончалась и императрица и взошел на престол Петр Второй, переехавший в Москву. Переехал с ним и Двор. И понеже Никитина стали звать ко Двору, то и

супруга его Мария была тоже звана.

И вот оттого ли, что она в лютерских краях росла, оттого ль, что при дворе чужестранных соблазнов набралась, а может и оттого, что блуд в себе имела, не взлюбила она мужа художника и вступила в грешную связь с распутным князем Иваном Долгоруковым, любимцем молодого государя.

Рано ли, поздно ли, но проведал о том муж и через это впал в муки мужеской обиды. Другой бы строго покарал жену или проучил бы обидчика, а Никитин смолчал. Да и ему ли было с всесильным царедворцем бороться?

И затаив злострадание, отдался он чтению мученических подвигов и мастерству своему, утоляющему боль житейскую и докуку суетную. И полюбилась ему собственная мука и собственная жертва и даже стал он подчас полагать, что жертву эту достойно приносить в угоду художествам. Так, мол, и в Натуре водится, что когда в одном выигрыш имеется, то в другом зато теряешь. Да и ведомо всем, что соловьям, чтобы лутче пели, глаза выкальвают.

Так от страдания еще лутче стал живописать Никитин и неутомимо изображал Христовы Распятия, в коих и свою неизбывную Голгофу в краски претворял.

III

Но преизрядное мастерство его — с рассвету до сумерек — не полностью забирало тоску и обиду. От них еще много сдавалось лишнего избытку, через коий жестокие думы волновали его сердце.

И полагал он, что Справедливый Судия посыпает ему муку в наказание за то, что целых три года среди еретических латынщиков пребывал, и еще что Петр Великой, хоть и привел Русскую страну из небытия в бытие, но много соблазнов от чужеземцев перенес, а вельможи и дворянские недоросли, по неразумению своему, только к тем соблазнам и приохотились, ничему другому от Петра не научившись.

Тут так случилось, что двоюродный брат Никитина, до монашества Осип Решилов, в иночестве же Иосия, тайно и безымянно сочинил «Житие» Феофана Прокоповича, коего обвинял в ереси и еще в том, что, будучи из Украины родом, утесняет он племя великорусское, подобно чужеземцам лютерщикам или же папежской веры.

Сие сердитое «Житие» читал и Никитин и в рассуждении справедливости полагал, что оно есть истинная правда, ибо и сам он горевал об утеснении благочестия, о чужих соблазнах, о разврате и об злоказненности пришлых чужестранцев.

Тем временем от осipy внезапно почил в отроческих го-дах Петр Второй, и монархиней стала Анна Иоанновна Курляндская.

IV

Старые люди говоривали:

— Бог любит праведника, царь любит ябедника.

Наябедничал Феофан Прокопович новой царице на Иосия и показал, будто пашквиль, на его особу писанный, не есть токмо пашквиль, а есть бунт супротив власти предержащей.

Ту ябеду подогрела еще и блудливая супруга Никитина.

Как она снова в грех впала и снова с царедворцем, с графом Левенвольдом, то заставил ее Троицкий архимандрит Варлаам оставить мужний дом без огласки и вступить в подвиг покаяния в Страстной монастыре. Пробыла там недолго и оттуда в монашеском одеянии предерзко ушла к сестре, коя при царице Анне с давних пор, еще в Курляндские времена, в придворной службе состояла. И тут обе сестры, яко ехидны злобесные, против ненавистного мужа и швагера бесперерывно и неусыпно наговаривали, пока императрица не повелела начальнику Тайной Канцелярии Ушако-

ву учинить розыск по ябеде Прокоповича на Иосию и на его присных.

И вот любимец Петровский, преудивительный художник взят под крепкий караул, четыре года пытаем с пристрастием, а под конец бит батоги и сослан в Сибирь.

Горько и не обиходно было ему там после роскошества домашнего и после солнечных зноев итальянских, но и в Сибири будучи пять годов в юдоли плачевной, не оставлял своего богоодухновенного таланта и писал портреты богатых купцов сибирских и разного начальства, ибо превозмогает талант и юдоль и все горести человеческая, будучи подобен неуемному потоку, который не глядит, что ему стоит попрек пути.

Когда же не стало окаянного душегуба Бирона, и из дальних сибирских мест вернули многих безвинно страдавших людей, возвращен был и Никитин.

Вострепетал художник от радости и полагал теперь не портреты писать, а большие образа по золотому небу, но не довелось: в трудной осенней дороге захворал и отошел в тот мир, где несть печали и вздоханий и неблаговоления человеков.

Да вчинит Господь душу его, многотрудившегося в нетленном художестве, вместе с душами праведников и искусных мастеров.



КОГДА ОРДА КОЧЕВАЛА

I

Плывет солнце к назначенному месту: таково повеление Всевышнего и никто не отменит его.

Лучше всех других знал про это Чанибек и потому скорбел. Сидел безвыходно в своей Ставке — и скорбел. Хадча и Лубердай, советчики его, молча стояли перед ним и, теребя жидкие волосы па подбородках, учиво ловили его взгляды.

В то время орда кочевала на желтой трости. Лето было мышье. От воды шел дух мокрый и давил грудь. Из разных улусов приходили страшные вести о Черной Смерти. А самое плохое было то, что скрытно волновались богадуры и среди них — кто же? — сын Чанибека, злая муха Бердигек, и Заяицкий хан Хидырь, убей его огненный дракон!

Покачиваясь из стороны в сторону, уныло говорил Чанибек:

— Надо ли мне бояться моего сына, когда ум у него такой же узкий, как и его глаза? Надо ли его бояться?

Лубердай, круглый, как шар, льстиво закивал головой и, как верблюд, быстро сплюнул на пол большой плевок, чтобы показать, каково значение Бердигека.

— Не торопись, — угрюмо сказал хан. — Бердигек — муха. Я это знаю. Но не послана ли эта маленькая муха Всевышним? Кто знает, может быть, этой ничтожной твари Сильный Судия дал карающий меч? Я убил брата своего Инсанбека. Отчего же сыну не убить отца?

Хадча кашлянул и осторожно заметил:

— Эти мысли у тебя от болотной воды. Снимем, великий хан, наши юрты и двинемся к Гулистану. Там сухо и спокойно.

Чанибек покачал головой.

— Узнаю, узнаю тебя, Хадча. Ты всегда был осторожен, как крот. Ты всегда держишься того правила, что надо удаляться от врага, которого трудно одолеть, ибо так поступал Пророк. Но если враг твой Судьба? Куда уйдешь от нее? Ведь и она знает дорогу в Гулистан.

Замолчали. Когда говорится о Судьбе, разумная тварь должна умолкнуть: не прикасайся, сказано, ножом к огню.

Тогда стало слышно, как блеяли овцы и счастливо взвизгивали ягнята. И еще было слышно, как беззаботно ржут лошади. Из далеких просторов донесся заунывный скрип каравана. Хан глубоко вздохнул и прищурил глаза, точно смотрел на солнце. Он что-то вспоминал.

Потом встрепенулся и, покачиваясь из стороны в сторону, стал нараспев говорить о прошлом:

— Когда я был молод, я видел во сне, будто подлетела ко мне птица шагин и села на мою руку. На мою руку села птица шагин. Старые люди объяснили мне, что это предвещает силу и могущество. Я решил, что так и будет. Так и будет, решил я и убил своего брата Инсанбека, чтоб сесть на его место. Но теперь я узнал, что сила и вера рождены из одного чрева. И потому крепка только та сила, которая стоит на вере. Я же веру эту теряю.

Горькая печаль легла на его сухие губы.

— Я делал много добра людям, — продолжал хан, — я старался быть справедливым к подданным своим. Кто это оценил? Многие ли любят меня? Даже с врагами своими я был кроток... Вспомни, Лубердей, — ты мой старший советчик, — какую большую льготу дал я Русской земле, одинаковую для бедных и богатых. И что же? Разве русские князья любят хана Чанибека? Они приезжают сюда с готовой лестью, лгут, доносят друг на друга, будто бы из преданности ко мне, и готовы всадить мне нож в спину. А простой русский народ считает меня хуже собаки, точно ему не все равно, кому давать тяжелую дань: великому хану или великому князю, если бы у них такой был. Я все знаю, Лубердей, я знаю, что меня не любят, но я закрываю глаза, ибо хочу пользы для всех, а отдельный человек ее понять не может.

Вдруг он вспомнил:

— А где тот русский поп, что явился сюда за ярлыком? Приведите его сюда. Может быть, у него узнаю какую-нибудь сладкую истину, которая утешит меня. Он угоден Богу. Бог же один.

Хадча всполошился, съежился и от брезгливости плюнул:

— Помилуй, хан! Между двух огней надо провести чужого, прежде чем он увидит тебя. Так было от дедов и предков наших. Разве ты забыл, что огонь очищает от злых сил?

— Все в руках Создателя Мира, — сказал хан, — пошли за попом и пусть явится сюда без всякого промедления. Так я хочу.

Хадча поерзал немного, недовольно покряхтел, а потом ушел.

— Лубердей, — с хитрой улыбкой проговорил хан. — Приготовь русскому попу ярлык. Самый милостивый ярлык. Хочу испытать его.

Лубердей, умевший дремать стоя, покачнулся и поплыл из юрты, отгоняя на ходу назойливых мух. Ему было жарко и он предвкушал приятное питье, которое ему сейчас подадут: горячую воду с баранным салом.

II

В отдалении, почтительно сложив руки на животе, стоял перед ханом длинный поп Василий и слушал, что читал толмач.

«Бессмертного Бога силою и величеством из дед и предок Чанибеково слово, по Узбекову ярлыку.

Улусным и ратным князем, волостным дорогам и князем и писцом и таможником и мимохожим послом и заставщиком и лодейщиком и многим людем и всем приказникам.

Чингис-хан, а по нем иные ханы, отцы наши, жаловали церковных людей и весь чин поповский и ярлыки им давали. И мы, ныне, первых ярлыков не изначивая и думав по

тому же, сего попа Василя пожаловали есмя. Коли пойдет он куда, чтоб его не замали, ни силы б над ним не учинили ни какие, или где ему случится постояти, чтобы его никто не двигнул, ни копей его не имали. Да не емлют у него подвод, ни корму, ни пития, ни становое, ни въездное, ни мимоходное на дороже бозмаку или которому моему пошлиннику.

И что есмя молвили, то бы есте все ведали и ордынские и русские люди, занеже за Чапибека хана и за детей его молитву творить. Так молвя, ярлык с алою тамгою дали есмя.

Мышье лето. Арама месяца, в 10-й день Пова. На желтой трости Орда кочевала. Лубердей и Туган-бекшай писали».

— Ты доволен, поп? — ухмыляясь, спросил хан через толмача.

— Много доволен, — сказал поп, низко кланяясь хану и тяжело дыша. — Много доволен. Бью тебе за это челом. Даждь Господь, твое осподарство у тебя было бы на многих лета. Ты промеж всех доброю правдою праведен. Сказывают люди, что ко всем людям тщивец еси и приветлив. И то правда. Аз же мыслил, что станешь меня умучать злую казнию.

Чанибек улыбнулся, но тотчас же строго посмотрел на попа и недовольно отмахнулся от него рукой, словно говорил: перестань льстить, я знаю цену лести, я все знаю.

Потом вскинул на попа свои старые потухающие глаза, в которых таялась неизбывная тоска, и произнес:

— Слушай, поп. Даю я тебе ярлык льготный. Кочуй, куда хочешь, никто не тронет тебя. Но скажи мне по правде, ты Божий человек и сам ведаешь, что будет тебе от Бога, когда неправду скажешь. Говори, не бойся, обещаю тебе нашу милость: ликует у тебя сердце или нет? Полная твоя радость иль неполная? Что на уме у тебя? Все говори, не бойся. Клянусь Всемогущим и Единым, не учиню тебе никакой обиды. Вот Коран: я, хан Чанибек, кладу свою руку на него.

В холодном страхе воззрился на него поп Василя: ай, искушаешь, бусурманский пес, ай пропадать! Помилуй мя Пречистая!

Задрожал и в памяти его привиделись: и умученный князь Черниговский, и Теверской и Ноугороцкий. Ему его сила оскудела, а очем зрак минул. Стоял, как камень.

— Чего молчишь? — гневно спросил хан. — Говорю, что за правду не учиню никакой обиды. Хану Чанибеку не веришь?

Вспыхнула у попа правда душевная, рассуду не внемлющая, и похогелось ему до конца накрепко постоять за свое, русское, как лихо не будет. Приложил перст к сердцу и сказал:

— В твоих руках стою, хан, а еще более в руках Божиих: чего Господь похочет, то и будет. Велишь правду говорить, без примышления — на сей земле все твое веление: изволь и не гневайся.

Замолчал и посмотрел зорко на всех — и на хана, и на Лубerdeя, и на Хадчу, и на Тутан-бекшу, а потом и молвил:

— Ты хан великий, под собою грады держишь и большия волости. Ярлык твой льготный и приветливый и силу крепкую имеет; радости же большой не учиняет он мне никаколь.

— Чести нашей гнушаешься, дрянной конь!

— Чести? О, злее зла честь татарская! — скорбно сказал поп.

Хадча не стерпел поповых слов и, жадно ловя ханские взоры, схватился за саблю.

Чанибек сердито посмотрел на него, цыкнул и сказал попу, что хочет его слушать.

— Посуди, хан! — продолжал поп. — Пригоже ли мне, церковному богомольцу, чтобы от русских людей боронили меня татарове и от своих же в обиду не давали? Кому, хан, приказываешь? Руським приказываешь. Гораздо ли так? О том, хан, и скорблю. О той соромоте и думаю. Потому сердцем не вельми обрадовался и крови у меня потухли. Все по правде тебе говорю, хан, без хитрости, а как взвелишь, так и будет: выйду из вежи твоей живым или полягу тут же.

Наклонился Хадча к ханскому уху и что-то долго напептивал, сверкая зрачками. Шептал, ерзал и хрюкал злобесно.

— Дурак ты! — насмешливо ответил хан, лениво поворачивая к нему голову. — Не меня он бранит, своих бранит за то, что они собаки и промеж себя недруги: своих же молебников не оберегают.

Долго-долго молчал и только мерно щелкал языком. И так щелкал, что казалось Лубердею, будто из бурдюка падают капли кобыльего молока, и он даже начал вдыхать его кислый запах.

— Оставайся здесь, поп, — ласково вдруг сказал хан. — Молись за нас и за наше племя. Тут тебе лучше будет.

Учтиво поклонился Василий, да оставаться не восхотел.

— Хоть и собаки, а свои же. Отпусти меня, великий хан, без мотчания.

— А молиться за нас будешь?

— Буду, — промолвил поп.

Приказал хан выдать Василю лал дорогой и отпустил его с ярлыком. Для души своей сделал это Чанибек: Бога боялся.

А потом, оставшись один с Лубердеем, сказал вздыхая:

— Нигде не видел я любви человека к человеку. Грызет волк волка, собака собаку, коршун коршуна, брат брата... Должно быть, так хочет Всевышний.

III

И думал так хан Чанибек беспереводно до того самого дня, когда пришел к нему в юрту сын Бердибек и убил его.

Плынет солнце к назначенному месту и никто не отведет его.

Часть вторая

ТАЙФУН

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С МАРКИЗОЙ

I

Давно ожидавшийся костюмированный бал у министра иностранных дел, наконец, начался. Он походил на богатую выставку, экспонатами которой были человеческие типы.

Никому, естественно, не хотелось упустить случая побывать в обществе знатнейших людей императорской Франции, вступавшей в пятый год своего существования, и залы были переполнены. В числе присутствовавших был даже император. Правда, он находился здесь инкогнито, в домино, но решительно все узнавали его по неуклюжей походке и по манере во время разговора крутить усы.

А все-таки не Луи-Наполеон был центром внимания. Это место пришлось ему уступить графине Вирджинии ди Кастильоне. Впрочем, тщеславие императора французов легко с этим мирилось, ибо немалая часть одобрения, вызванного очарованием этой прекрасной женщины, перепадала и ему — за выбор такой любовницы. И, глядя на графиню, он восторгался самим собой.

II

Люди, разбирающиеся в искусстве, определяли графиню Кастильоне, как подлинную художницу, справедливо полагая, что художественное творчество проявляется не только в искусстве писать картины, но и в том, чтобы умело выделять и подчеркивать красоту там, где она не всегда бросается в глаза. Графиня как раз этим и отличалась, выделяя красоту собственную. И самое ценное в этом ее творчестве бы-

ло умение варьировать себя на разные лады, показывать свое многообразие. Ее видели шаловливой нормандской крестьянкой, видели строгой римлянкой в образе Лукреции или даже весталки, а в роброне и высокой напудренной прическе она показывала себя в грациозной надменности галантных времен.

В этот вечер она капризно перенесла себя во времена Короля-Солнца, слегка облегчив тяжелый и громоздкий костюм эпохи легкими кружевными воланами и ворохами шелка. Едва прикасаясь к изгибам кринолина, она точно плыла по паркету, но только ладья, ею изображаемая, была не острогрудой, ибо смелая обнаженность графини доходила до пределов, обычно скрываемых. Корсет она оставила дома. Тонкая вуаль, прикрывавшая ее высокие упругие груди, будучи лишь символом покрывала, легко исчезала под пристальными взглядами мужчин.

Это было неприлично даже для Второй империи, но зато красиво, и такой угрюмый брюзга и ворчун, как граф де Виль-Кастель, хранитель Лувра, не удержался от восторга и стремительно подошел к графине, чтобы высказать этот восторг в форме мадригала. Но в угрюмых устах нелюдимого скептика восторг прозвучал тяжеловесно и не без упрека:

— Ваши высокомерные мятежники, графиня, призывающие к протесту против всякого стеснения, очень убедительны в своей агитации. Очень. Но смотрите, сударыня, чтобы эта пропаганда не побудила рабов броситься срывать одежды.

Графиня с нескрываемыми презрением посмотрела на автора неудавшегося мадригала и отошла от него, не проговорив ни слова.

Самолюбивый граф, внучатый племянник Мирабо, эстет, писатель, одновременно ощутил досаду и злобу. Вечер был испорчен.

III

Уже много лет, как граф де Виль-Кастель злится на весь

мир. Ему не хочется называть себя неудачником, потому что всякое неудачничество на семь восьмых проистекает от бездарности, — он это знает, — и поэтому считает, что ему только не везет. Виктор Гюго и Оноре Бальзак затмевают его поэзию и прозу. Поэтому он ненавидит их. Тем более, что пять его романов — явные реминисценции Бальзака. Ламартин предупредил его в политике и в историографии, и он зло острит насчет автора «Созерцаний»: «Ламартин про-менял свою лиру на тирелиру (копилку)». И, наконец, он, граф де Виль-Кастель, знаток искусства написавший «Историю французского костюма», не только ничего не выручил от своего труда, поглотившего 17 лет неустанной работы, но еще потерял на нем свыше ста тысяч франков! Но нет, это еще не все. Графа еще терзает и иная горечь, которую никак не могут ослабить пятьдесят два года его жизни: к нему равнодушны женщины.

Как искушенный наблюдатель, он отлично знает, что искусство и его служители незримыми флюидами всегда возбуждают женское любопытство и женскую чувственность. Но эта древняя аксиома предательски обходит его, как и сами женщины, даже жена, которая не захотела жить с ним под одной кровлей. А вот шеф его, директор Лувра, граф Ньеверкерк, ловко пользуется ореолом человека искусства, чтобы быть не только любовником дочери Жерома Бонапарта принцессы Матильды, но еще одновременно добиться благосклонности и художницы Миньери, и *m-me* Аги, и юной Помпадур Второй империи, графини Вирджинии Кастильоне.

При мысли об этой обольстительной женщине граф де Виль-Кастель мечтательно закрывает глаза и вспоминает, как однажды рано утром графиня взобралась с Ньеверкерком на крышу Лувра, чтобы слушать, как звучат колокола во всех парижских церквях. Однако, эта заутреня, начавшаяся на крыше и закончившаяся в кабинете директора, продолжалась слишком, слишком долго... Счастливчик, этот наглый Ньеверкерк!

При одном из таких воспоминаний у графа де Виль-Кастель родилась тайная мысль: а почему бы и ему, человеку

искусства. эстету, писателю, детство свое проведшему в Мальмезоне, где его отец был камергером Жозефины Богарне и ее любовником, почему бы и ему не поискать удачи у этой обольстительницы, добродетель которой очень охотно отдает дань пороку? Ну, вот он и сделал попытку на маскараде у министра иностранных дел и сразу же потерпел полное поражение. Презрительным движением губ графиня Кастильоне как бы сказала ему:

— Вас, сударь, мои мятежники в виду не имели.

IV

После острой неудачи вполне естественна потребность в утешении или хотя бы попытка заполнить щемящую пустоту.

Граф де Виль-Кастель, съежившись от обиды, отошел в сторону, почти что в угол и, окинув унылым взглядом пеструю веселящуюся толпу, ощутил пламенеющее желание вознаградить себя какой-нибудь победой, хотя бы самой маленькой, чтобы задержать наплывавшее отчаяние.

Так он простоял час, хмурый и злой. Может быть, даже больше, чем час. Во всяком случае, это время показалось ему нестерпимо длительным. Он уже хотел было незаметно пробраться к выходу и уехать домой, как вдруг увидел маркизу да Пайва. Его встревоженное сердце предвкусило удачу, и он плотоядно улыбнулся.

«Сейчас мне нужно, чтобы в ушах прозвучал победный марш», — сказал он самому себе и уверенно направился к маркизе.

В одном он безусловно не ошибся. Маркиза блуждала без спутника, и появление графа было ей приятно. Она радостно улыбнулась ему, как хорошему старому знакомому, и сразу засыпала его расспросами о лицах, которые проходили мимо нее и которых по фамилии она не знала.

Маркиза да Пайва не знала многих, но зато ее знали все, потому что она считалась королевой кокоток, бесцеремоннейшей из женщин той эпохи длительного карнавала, когда все торопились богатеть и наслаждаться. Ее непомерная жадность к деньгам равнялась цинизму ее выходок, и вся ее жизнь была двойной оргией — расчетливости и бесстыдства — между постелью и банковским сейфом. Недаром про нее говорили, что рот ее создан не для поцелуев, а для биржевых секретов.

Но тем не менее, мужчины к ней тянулись длинными вереницами и охотно раскрывали перед ней свои кошельки.

В Париж она прибыла искать счастья из какого-то маленького русско-польского местечка и очень быстро сообразила, что лозунг времени — открытый беззастенчивый цинизм и что бесстыдство котируется неизмеримо выше скромности. И она стала щеголять бесстыдством. Она переходила из рук в руки на виду у всех, как дверная ручка общественной уборной. Прогрессировавшие гонорары за ее ласки порождали у одних зависть, у других удивление, а у всех вместе ее популярность. К тридцати пяти годам она была достаточно богата, у нее было немало драгоценностей, а архитектор Манжен уже приступал к постройке пышного особняка для нее на Елисейских полях, смета которого превышала $1 \frac{1}{2}$ миллиона. Единственное, чего ей не хватало, это официального положения в обществе, причем она это чувствовала не в отвлеченности тщеславия, а прямо физически, потому что ее не один раз просто за руку выпроводили с маскарадов и балов, как зарегистрированную потаскушку без роду-племени. Она стала искать социального прикрытия и, конечно, нашла его в титуле одного португальского маркиза, кузена португальского посланника. Короче говоря, она его женила на себе. Но это делали многие и до нее. Она же поступила в соответствии с цинизмом эпохи. Наутро после первой брачной ночи, то есть первой ночи, за которую ей не было уплачено, за первым же завтраком она сказала своему счастливому супругу:

— Вы меня желали, маркиз, и вы этого добились. Я вас

тоже хотела и тоже этого добилась. Не знаю, что вы собираетесь делать дальше, но, что касается меня, то я сегодня же возвращаюсь к своей прежней профессии. Надеюсь, вы похвалите меня за мое постоянство.

Португалец огорченно уехал на родину, но зато оставил ей свой титул, который, понятно, открыл перед ней много парадных подъездов. А все-таки публично ее сторонились. Боялись, что эта развязная блудница, чего доброго, вдруг перешагнет даже через те неприличия, которыми щеголяла та разнужданная эпоха.

Вот отчего, направляясь к маркизе да Пайва, граф де Виль-Кастель заранее знал, что его общество будет ей приятно, как защита от косых и презрительных взглядов.

VI

— А вы знаете, маркиза, — сказал граф, беря у нее из рук кружевной веер, — я ведь ваш старый поклонник.

Она искренне удивилась.

— Вы? Никогда я этого не замечала. Никогда. Но если это так, то должна вам сказать, что вы держали себя по-разительно скромно. Как юноша.

— Скромность была моим стратегическим приемом.

— Не понимаю.

— Я рассчитывал, что вы будете тронуты и вознаградите меня за эту скромность.

— Неглупо, — сказала маркиза. — Но неужели до вас не дошли слухи, что я чудовищно жадна к деньгам и что мое общество обходится слишком дорого?

— Да, я это слышал.

— И тем не менее ...

— И тем не менее я верил в вашу щедрость. Ведь и злодеев не бывает стопроцентных. Даже и они иной раз способны на великодушие. А тем более женщина. Не правда ли?

Она лукаво посмотрела на него и сказала:

— Вы, кажется, хотите расплатиться словами. Нет, я на это не поддамся. И, кроме того, у меня имеются принципы.

— Принципы?

— Да. Я считаю, что бесплатным люди не дорожат. Люди ценят только то, что стоит дорого.

— Но для нищего студента и один ливр большие деньги, маркиза.

— Верно. Поэтому с нищего студента я бы взяла один ливр.

— А с меня, милая маркиза?

— С вас? Я думаю, ваши доходы не превышают тридцати тысяч. И, следовательно, 10 тысяч для вас большая сумма. Не так ли?

— Безусловно.

— В таком случае, принесите мне завтра десять тысяч, и я ваша.

Он церемонно поклонился. Ему, искашему ободряющей победы после неудачи у Кастильоне, — покупать любовь у кокотки? Это было унижительно для эстета, писателя и человека искусства.

— А чтобы вы не думали, что я такая мелочная, — продолжала маркиза, — ибо десять тысяч ливров для меня действительно пустяки, я на ваших же глазах сожгу эти деньги. Идет?

И прежде, чем он успел ей что-нибудь сказать, она вдруг щелкнула пальцами и задорно объявила:

— И пока деньги будут гореть, я ваша. Но не дольше. Слышиште?

VII

Люди, жизнь которых представляет собой скучную повесть без фабулы, любят заглядывать в чужие окна. Это проявляется либо в том, что они безостановочно читают романы, либо в том, что они интересуются сплетнями.

Вся жизнь графа де Виль-Кастеля была без фабулы. Поэтому его занимали чужие похождения, и он педантично заносил их в свои мемуары, и вдруг случай посыпал ему самому необыкновенное приключение. Неужели же равнодушно пройти мимо него? И неужели предоставить ему свободное течение — так, как он сам развернется? Не осложнить ли его утонченностью? Не внести ли в него что-нибудь свое, занимательное, забавное, чтобы было о чем вспомнить из собственной жизни?

Он долго размышлял над завтрашним визитом и наконец придумал. Заснул он с хитрой улыбкой. На другой день он явился в назначенное время. Маркиза да Пайва встретила его не столько радушно, сколько деловито. Он молча протянул ей десять бумажек по тысяче франков и выжидающе посмотрел на нее. Таинственно улыбаясь, но опять-таки деловито, она разложила деньги в ряд на мраморном столике и тут же поставила зажженную свечу.

— Я боялась, что вы принесете мелкие купюры, — насмешливо сказала она.

— Я бы охотно это сделал, маркиза, — ответил де Виль-Кастель. — Но, к сожалению, эта прекрасная идея не пришла мне в голову.

— Вы не предусмотрительный любовник, — продолжала маркиза.

— Об этом рано судить, сударыня.

Маркиза удивленно и скептически посмотрела на него. Но он не спешил пояснить свои слова, и маркиза только впоследствии поняла, что он оказался гораздо предусмотрительнее, чем она думала.

Это был момент, когда, обойдя все условности, чтобы не терять драгоценных мгновений — он получил на это право! — граф де Виль-Кастель в то же время проявлял непонятную сдержанность и отнюдь не торопился довести свое желание до конца, наслаждаясь игрой в замедление.

— Вы забыли о моих условиях! — напомнила маркиза.

Вместо ответа он указал глазами на мраморный столик: тысячефранковые билеты лениво дымились, но не сгорали.

— Это вы сделали? Как же вы этого достигли? — полу-
бопытствовала маркиза.

— Я смочил их огнеупорной жидкостью.

Она громко расхохоталась и удовлетворенно подумала, что своей веселой изобретательностью ее скучный гость окунулся в свой невыгодный для нее визит...

...Де Виль-Кастель уже стоял перед зеркалом и приводил в порядок прическу, а маркиза, не покидая своей широчай постели, точно в истерике, все еще смеялась. Она заранее предвкушала, как эта история распространится по всему Парижу; о ней будут говорить во всех салонах и кафе. Это было ей страшно приятно.

— Вы меня оригинально развлекли, — сквозь смех обронила маркиза. — Признаться, я этого не ожидала. Очень, очень остроумно. И я не жалею, что потребовала у вас такую ничтожную плату.

— Я тоже не жалею этих денег, — галантно ответил граф де-Виль Кастель. — Потому что эти бумажки обошлись мне всего в пятьдесят франков.

— Что это значит? — нахмурившись, спросила да Пайва, приподнимаясь с подушек.

— Они фальшивые, — спокойно объяснил граф.

Маркиза сорвалась с постели и, не застегивая пеньюара, взлохмаченная, измятая, босая, побежала к столику, где все еще тлели тысячефранковые бумажки. Она схватила одну из них, поднесла к глазам и с яростным лицом фурии выругалась, как уличная торговка. Вычурная ругань ее пронеслась по комнатам, как раскаты грома в горах.

VIII

Медленно возвращаясь домой, граф де Виль-Кастель думал о своих мемуарах. Не о том, внести ли этот забавный эпизод в свои записи — об этом не могло быть двух мнений, эпизод был необычен, и не использовать его было бы непростительно.

Прежде чем вернуться домой, он должен был решить, увековечить ли свою изобретательность, описать ли, как он, граф де Виль-Кастель, проучил жадную кокотку — или приписать это другому.

Очень велик был соблазн превознести для истории самого себя, но это не соответствовало презрительной манере письма, с какой он описывал бесстыдные нравы Второй империи.

Увы, пришлось пожертвовать собой, и ради выдержанности стиля он вместо себя подставил какого-то юного ловеласа.



ПРОКАЗЫ КОРОЛЯ

1

Kаждый завоеватель увековечивает свои победы. Один воздвигает величественные монументы, другой — храмы, третий — дворцы.

Август Второй, эlector Саксонский, он же король Польский по избрании сейма, постарался отметить свое земное бытие памятником своих сердечных завоеваний и в прекрасном дрезденском дворце, им самим выстроенным, отвел обширную залу для портретов тех женщин, которые были его возлюбленными.

В те времена подражали Версалю, и пышность, великолепие и успех у женщин рассматривались, как знаки гениальности. В этом смысле гениален был и Август Второй, о чем и поныне свидетельствуют упомянутые дрезденские портреты полутораста красавиц, а также старинная книга, изданная в Амстердаме через два года после смерти веселого короля.

Безымянный автор ее, рассказывая о короле-курфюрсте, ни одним словом не упоминает о его деяниях, как государя Саксонии, Польши и Литвы, но зато восторженно описывает любовные похождения этого умелого обольстителя, не щадившего ничьего целомудрия и оставившего после себя огромное множество незаконных детей. Не оттого ли он был прозван Августом Сильным?

Утверждали еще, что в затаенном желании затмить природы французского короля Людовика XIV было у Августа намерение рядом с галереей побежденных красавиц устроить и вторую галерею — из портретов тех мужей, которым он милостиво наставил рога, но эту причуду он не осуществил по недостатку времени.

Все же и портретным памятником своих сердечных побед веселый король себя достаточно увековечил. По край-

ней мере, другой такой обширной галереи нигде не имеется, и недаром она была воспета даже в поэзии.

Оставим, однако, это неизбежное суесловие вступительных замечаний. Пора перейти к делу, и потому кратко скажем, что среди многочисленных дрезденских портретов есть один, изображающий красивую Генриетту Дювалль, дочь французского виноторговца из Варшавы.

Об этой Дювалль, собственно, идет речь.

2

Будучи государем Саксонии и Польши, Август, как это полагается в таких случаях, имел две столицы и подолгу жил то в Дрездене, то в Варшаве. Но так как супруга его, королева Христина, была ревностнейшей лютеранкой и ни под каким видом не пожелала жить в строго-католической Варшаве, Август охотно согласился на это, предпочитая находиться подальше от ревнивой супруги, дабы она не служила помехой его любовным развлечениям.

И хотя Тарноградская конфедерация, справедливо полагая, что благонравная жизнь короля в обществе супруги обойдется стране значительно дешевле, чем его холостая расточительность, сурово потребовала, чтобы королева немедленно переехала на постоянное жительство в Варшаву, — король сумел противостоять этому требованию польского дворянства и пребывал в Варшаве один, широко пользуясь личной свободой. Однако, это ему только казалось, ибо в действительности он подпал под еще более строгую опеку одной из тех женщин, портреты которых он тщательно собирал в Дрездене, — а именно под опеку прекрасной графини Козель.

Влюблчивый король был всецело в ее власти. Но, чтобы вернее удержать в своих руках его летучее сердце, предусмотрительная графиня установила над своим другом неусыпный надзор, дав ему в адъютанты своего родного брата, а последний был неотступно возле короля.

Давно, однако, известно, что точнейшие расчеты человеческие часто бывают ошибочны, и тот, кто приставлен был к Августу для охраны его верности, неожиданно оказался его искусствителем.

Случилось однажды, что король заметил ежевечернее отсутствие своего молодого адъютанта и потребовал объяснений. Адъютант смутился, хотя и мог бы повторить справедливое изречение римского поэта Клавдиана — *Regis ad exemplar, totus componitur orbis* — примером государя складывается весь мир.

— Уж не попал ли ты в сети какой-нибудь красотки? — спросил король.

— Попался, ваше величество, — правдиво ответил брат графини Козель.

— Ну и что же? — продолжал допытываться Август. — Блаженствуешь?

— Еще нет, — признался адъютант. — Да и вряд ли удастся взять эту крепость.

— Неприступна?

— Испытайте сами, ваше величество, — неосторожно сорвалось с языка охранителя верности короля, и этого было достаточно, чтобы у Августа пробудилось обычное любопытство.

Он тотчас же осведомился, кто такая эта недоступная красавица, и узнал: дочь француза Дювала, владельца винного погребка.

— Посмотрим и убедимся, — сказал король и в тот же вечер, переодевшись в платье саксонского офицера, отправился с влюбленным юношей в погребок.

Отменный знаток красоты, король очень скоро удостоверился, что семнадцатилетнюю Генриетту недаром Варшава определила, как первую красавицу. Август одобрил вкус своего адъютанта, дружески хлопнул его по плечу и великолодушно сказал ему:

— Не отчайвайся! Я помогу тебе.

Но всем известно, что в великолодушии льва замечаются иногда и львиные когти, и когда адъютант убедил Генриетту в мундире офицера польских гвардейцев явиться на

другой день в королевский дворец для получения от его величества секретных приказаний, она пробыла в апартаментах Августа слишком долго для простого офицера. Очевидно, беседа с ней была особенной важности. Адъютант ликовал. Адъютант предвкушал радость.

Но, должно быть, королю не удалось сразу расположить девушку к молодому человеку, и понадобилось для этого еще несколько таких же продолжительных бесед.

Адъютант терпеливо ждал благосклонности Генриетты, и немало было им выпито дорогого бургундского вина у ее отца, пока, наконец, он не узнал, что она сделалась матерью. Юный воздыхатель был потрясен, но зато король несколько не удивился.

Напротив, его величество был в самых радостных чувствах, тем более, что в тот же день 1702-го года он получил точно такой же подарок и от графини Козель, также родившей девочку.

3

В то время, как дочь графини росла в изобилии и роскоши, ибо ее воспитывали, как принцессу королевской крови, дочь простодушной Генриетты Дюваль, не позаботившейся ни о каких доказательствах своей близости с королем, пребывала в обычных невзгодах внебрачного ребенка.

К тому же венценосный отец малютки, после нескольких лет безмятежной жизни, стал испытывать неудачи в длительном поединке с Карлом XII, любимцем Беллоны, музы войны, и не имел времени заняться участью своей дочери. При этом мать ее, прекрасная Генриетта, вскоре умерла, и маленькая Анна росла в заброшенности уличной девочки, тайна рождения которой упорно скрывалась.

Между тем, шли годы. Король заметно старел, сделался мрачным, и пополнение дрезденской галереи занимало его значительно меньше, потому, что, по слову Горация, *Multa recendentes adimunt* — многое лишают уходящие го-

ды.... Вследствие этого опустел королевский замок, не показывались в нем красивые женщины, прекратились балы. И опять-таки, *Homines in regis mores se formant* — люди следуют нравам государя. Польша заскучала.

И вдруг точно проснулся король.

Оживился и дворец, и снова начались пышные балы, как бы возвращавшие шумную молодость ветреного короля-курфюрста.

Виновником этой разительной перемены был граф Рутовский, командир полка королевских гвардейцев.

4

Граф Рутовский был побочным сыном короля от плебейской турчанки (портрет ее в Дрездене по недосмотру отсутствует).

Сердце он имел доброе, нрав же унаследовал от при-чудливого отца и больше всего думал о занимательных развлечениях. Вдобавок, в сыновней преданности к королю скорбел об его унынии в опустевшем дворце и не раз думал о том, как бы его отвлечь от сумрачных мыслей.

Узнав из глухой молвы, что в Варшаве где-то проживает забытая дочь его отца, он отыскал ее, чтобы этим обрадовать родителя, а заодно устроить ее будущую судьбу. Не объявляя молодой девушке тайну ее рождения, чтобы не вскружить ей голову, он поспешил дать ей воспитание, сообразное с тем положением, которое ожидало ее. А затем под разными предлогами уговорил Анну надеть мундир полка, которым он командовал, и явиться в таковом на королевский смотр.

Его расчет был правильным. На смотре, обходя ряды полка, Август с радостным изумлением остановился перед молоденьким офицером, напомнившим ему другого такого же офицера, который двадцать лет назад явился во дворец для получения секретных приказаний особой важности.

Взволнованный старыми воспоминаниями о Генриетте Дюваль, которая как бы возрождалась, ибо Анна была до странности похожа на свою мать, король отошел в сторону, подозревал графа Рутовского и очень скоро узнал от него тайну маскарада.

Несколько дней спустя Анна появилась во дворце, вызывая недоумение придворных, а также лукавые улыбки, ибо решили, что это новая фаворитка и на этот раз, вероятно, последняя, тем более, что заметили необычную к ней привязанность короля. Но Август поспешил раскрыть свой секрет и признал девушку своей дочерью, повелев именовать ее Ожельской, от слова орел (*Orzeł*), желая тем показать, что по происхождению своему Анна связана с обозначением высшего знака польского государства.

Вот почему заново были отдельаны обветшавшие залы дворца, а в них снова зажглись огни и, как прежде, пестрой толпой устремлялись во дворец приглашенные гости.

И правы были те, кто подметил особую нежность короля к этой юной девушке, потому что неугомонные страсти его уже остывли, и на смену им пришло чувство отцовское, умирающее последним. Он так боготворил Анну, что, узнав впоследствии о ее решении не ограничивать себя узами брака и пользоваться полной свободой, легко предоставил ей таковую, считая, что эта склонность передалась ей по наследству от него и не поддается оспариванию. И когда Анна родила ребенка, не будучи замужем, он весело улыбнулся и сказал окружающим:

— Моя дочь!

Но, как известно, нет такой женщины, которая бы не захотела семейного покоя. Не желала этого и Анна, и тогда Август поспешил найти для нее иностранного принца, прикрывшего своей герцогской мантией и грех ее родителя, и ее собственные грехи.

ТО, ЧТО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Всякому известно: первый роман, прочитанный в юности кажется непревзойденным по своей красивой значительности и оставляет неизгладимый, ничем не вытравляемый след в памяти, особенно если еще героиня была прекрасна. Впрочем, кто же в прежние времена жалел красок для главной героини? Таких жестоких писателей, кажется, и не было.

Моей первинкой, запавшей мне глубоко в душу, была трагическая история о прекрасной маркизе де Ганж, супруге губернатора Лангедока. Где я про нее вычитал, совершенно но помню, — в журнале ли (может быть, в «Вестнике иностранной литературы»), в газете ли, — не знаю, не припомню. Знаю только, что я был потрясен, и если я не оплакивал судьбу героини настоящими слезами, то думаю, только потому, что было мне тогда 12 лет, когда плакать уже не полагается.

Помню еще, что это был не роман, не повесть, не рассказ, а нечто вроде исторического очерка, написанного не постыдно-равнодушной рукой торопливого переводчика или сухого компилятора, а человеком с чувствительной душой и нежным сердцем.

Начинался рассказ с того, что жизнь молодоженов — маркизе было всего 22 года — протекала счастливо, но внезапно омрачилась скрытной ревностью маркиза, потому что в замке вдруг появились его братья — аббат и шевалье, никак не скрывавшие своих нежных к маркизе чувств.

Но тут нужно сказать, что аббат по своей учености, уму и по своему пониманию жизни был гордостью всей семьи. И, конечно, он был во много раз занимателнее маркиза, в сущности, еще мальчика, получившего от короля высокую должность в Лангедоке лишь по настойчивой протекции. И поэтому у него не хватало смелости проявить перед старшим братом свое недовольство.

Однако любовные наступления аббата, беспрерывные и даже назойливые, не дали ему желанного успеха. Не столько, пожалуй, из любви к мужу, сколько из гордости, маркиза оставалась неприступной. Она охотно беседовала с умным и образованным аббатом, шутила, острila, но на тайное свидание с ним не соглашалась.

Настойчивый аббат был, однако, не только умен, образован и учтив, он обладал еще повышенным самолюбием. А как следствие этого, легко рождалась в нем мстительность. И не нужно забывать, что это был достаточно грубый 17-й век.

Однажды прекрасной маркизе какие-то поклонники доставили лечебный крем. Это был яд, но, по-видимому, слабый, потому что врачу удалось его нейтрализовать. С этого все и началось.

*

Помню, во время чтения этих строк меня позвали ужинать. Признаюсь, мне было не до еды. Судьба маркизы, которую осаждали, как крепость, интересовала меня значительно больше, чем ужин. Я явно страдал. Ревность смешалась во мне со злобой. Вступая в жизнь, я впервые видел, что существуют беспомощные люди и что муж не всегда является для жены защитой и опорой.

— Чем ты так расстроен? — спросили меня.

Мне неудобно было указать истинную причину, и я ответил:

— У меня что-то нога болит.

После ужина я узнал, что дед очаровательной маркизы, тоже, по-видимому, неравнодушный к ее красоте, оставил ей в наследство, обойдя более близких родственников, — обширнейшие владения, с условием, что все это будет принадлежать лично ей. Это, казалось бы, предоставляло ей большую независимость, но вышло иначе. Вероятно, чтобы

как-нибудь избавиться от настойчивого аббата и молчаливого шевалье, который, подобно гиене, молча ходил за аббатом, очевидно, надеясь, что и ему что-нибудь перепадет, хотя бы с помощью угроз разоблачения, то есть шантажа — молодые супруги решили переселиться в городок, лежавший между Монпелье и Авиньоном.

Я рад был за маркизу и еще обрадовало меня, что она оставила завещание, по которому все ее имущество, в случае смерти, переходит к ее матери. Причем, если маркиза вздумает составить новое завещание, авиньонский магистрат будет поставлен об этом в известность. Мне почувствовался в этом поступке чей-то неглупый предусмотрительный и доброжелательный совет — стало быть, прекрасная маркиза была не в одиночестве, решил я.

Но опять-таки все вышло не так, как мне хотелось. Почему-то маркиза снова вернулась в замок, супруг ее неожиданно уехал по делам, и возле Красной Шапочки остался Серый Волк, лукавый аббат.

Как хороший проповедник, а главное, как изрядный негодяй, он убедил маркизу сделать своим наследником мужа. Почему, собственно, муж должен был пережить ее и стать наследником, этот вопрос ей, очевидно, не приходил в голову.

Я сжимал кулаки от злости и негодования, тем более, что очень скоро маркиза серьезно заболела, а лекарство, доставленное ей, показалось больной очень подозрительным. Она благоразумно не приняла его.

Это было днем. Больную маркизу пришли проведать окрестные дворяне, но, как я потом понял, это сделано было только для отвода глаз, потому что, не успели гости уйти, как внезапно появился шевалье со стаканом мутной черной жидкости и, не пускаясь в объяснения, злодейски-скрипучим голосом сказал ей:

— Мадам, вы должны умереть.

При этом он вынул кинжал и добавил:

— Выбирайте: кинжал или яд.

Господи, как я ненавидел этого подлого шевалье! К аббату я тоже питал достаточно враждебное чувство, но тот

хоть действовал открыто, тонко домогался любви прекрасной маркизы и неизмеримо выше стоял ее мужа, безвольно-ничтожного человека, который при аббате впадал в чисто мальчишескую робость и терял дар речи. А шевалье — тот, еще раз привожу это сравнение, представлялся мне подленькой гиеной, не полагающейся на саму себя. Он не произнес ни одного умного слова, ни с какой стороны не высказал своей учтивости и сидел обычно, при беседе аббата с маркизой, мрачный, как сова. А сейчас он нашел в себе зверскую решимость отравить прекрасную, ни в чем не повинную женщину. За что?

К моему яростному изумлению, в комнату вошел аббат и произнес то же самое:

— Вам предстоит выбор, сударыня, — яд или кинжал.

Уже прошло много десятков лет, я не помню подробностей. Помню только, что маркиза в беспомощности предельного отчаяния, в бессилии одиночества глотнула яд, но на дне бокала оставался еще осадок и, по-видимому, шевалье считал, что в нем вся ядовитая суть.

— До дна, до самого дна! — прикрикнул на маркизу немолимый палач.

Маркиза покорно послушалась, но не проглотила густой жижицы, а оставила ее во рту за щекой.

Решив, что дело сделано, оба брата вышли из комнаты, чтобы привести духовника.

Тогда маркиза, собрав все свои последние силы, выпрыгнула через окно замка и побежала по направлению к деревне.

Ну, разумеется, я мысленно бежал вместе с нею, подбадривал ее и торопливо говорил о том, что она тотчас же должна дать знать обо всем этом королю.

Увы, увы! Шевалье заметил ее бегство и, как ястреб, бросился за нею. В трехстах шагах от замка он нагнал ее и грубо втолкнул ее в первую попавшуюся избу. Приступы боли уже начались. Маркиза застонала. Стакан воды, который подала маркизе крестьянка, был выбит у нее из рук и, конечно, сделал это шевалье.

Тогда маркиза, поборов свою гордость, бросилась, моля о пощаде, к ногам шевалье, но тот безжалостно оттолкнул ее и в ответ нанес ей кинжалом несколько ударов в спину.

Но уже приближались люди. Братьям надо было бежать. Аббат, чтобы завершить начатое, выстрелил в маркизу из пистолета. Оружие дало осечку, что позволило маркизе прожить еще один день.

Все это не выдумано, а действительно случилось в 1667 году в царствование благочестивейшего короля Людовика XIII, одинаково справедливого ко всем своим подданным.

Помню отлично, что печальное повествование заканчивалось каким-то судебным процессом по поводу первого завещания, но меня уже это не интересовало.

Я целиком был во власти мыслей о несчастной, беспомощной, одинокой красавице — маркизе де Ганж, так рано погибшей исключительно из-за своей красоты и привлекательности. Целую неделю я мысленно оплакивал ее, из-за чего сильно страдала моя орфография при диктовке и задачи по арифметике оставались нерешенными.

Я только вступал в жизнь, и на много-много размышлений навела меня эта история. Прежде всего, я увидел, что такое произвол и безнаказанность, а затем стал понимать, что семейная тирания — страшная вещь, преодолеть которую может только очень сильный человек.

Но зато надо всем этим возвышался прекрасный образ. Мне то и дело мерещилось бегство отравленной маркизы из замка в деревню, со смертельным ужасом на лице и, признаюсь, что образ этот, хотя и созданный юношеским воображением, живет во мне и по сей день и, вероятно, исчезнет только с последним моим вздохом.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕВАЛЬЕ

I

Господин де Корберон по старческой надменности и упрямству долго крепился, а затем не выдержал и торжественно сообщил своей дочери Марселине, что на днях должен приехать из Парижа ее троюродный брат шевалье де Ляндаль. С этого момента в замке началась предпраздничная суматоха, которой больше всего опасался престарелый де Корберон.

Уже с самого раннего утра слышался шорох граблей, равномерно скользивших по аллеям, и звучанье садовых ножниц, торопливо обстригавших кусты. Рабочие снимали паутину с лепного фронтона. Жена садовника тщательно убирала сухие листья из бассейна. На кухне приступали к приготовлению гусиных паштетов.

Зато первой заботой предусмотрительной Марселины было призвать к себе камеристку Луизу и объявить ей, что она немедленно должна удалиться в предназначенный для челяди флигель и не показываться, пока ее не позовут. Луиза задрожала от обиды, поклонилась и вышла.

Соображения девицы де Корберон были безукоризненно логичны. Она была некрасива и достаточно немолода, и сравнение ее с молоденькой камеристкой, чье тонкое лицо и умные живые глаза пленили мгновенно, — говорило не в пользу госпожи. К тому же Марселина догадывалась, что приезд шевалье де Ляндаля связан с давним желанием всей родни выдать ее за него замуж, и поэтому ничего странного не было в том, что она решила обезопасить себя от не выгодного сравнения.

II

Шевалье де Ляндаль был встречен с родственной теплотой. Но, увидев некрасивую Марселину, предназначавшуюся ему в жены, он сразу же заскучал и с горечью подумал о том, что богатство старика де Корберона требует слишком большой жертвы от его утонченного вкуса, развивавшегося в Париже. В дальнейшем молодой шевалье убедился еще и в том, что Марселина посредственна и нисколько не занимательна: в неустанном старании показать гостю, что разносторонность ума с избытком может покрыть недостаток красоты, де Корберон, хотя и говорила с лихорадочным увлечением, но зато отчетливо проявляла себя умничавшей провинциалкой.

Паштеты были превосходны. Жаркие возбуждали аппетит одним своим видом. Фрукты и вина соперничали своими красками с цветами, лежавшими на глыбе синеющего льда. Ветвистые канделябры из позолоченного серебра поражали своей затейливой архитектурой. Но Марселина неспособна была вызвать в шевалье ни одной притягательной мысли, и этого было вполне достаточно, чтобы он окончательно отказался назвать ее своей женой.

Он продолжал быть с ней внимательно учтивым, но пользовался каждым удобным случаем, чтобы уединяться в парке и думать о божественном Париже, где наслаждение, красота и умственные бесчинства живут в неразрывном согласии.

III

На четвертый день, в сумерках блуждая по аллеям, шевалье встретил юношу, притаившегося заbosкетом.

— Господин шевалье! — услышал он взволнованный шепот. — Я не посмел бы тревожить вашего уединения, если бы не почувствовал, что вы посланы мне самой судьбой.

Насколько было возможно разглядеть в сумерках лицо говорившего, он был совсем молод, изящен, с тонким, почти девичьим лицом.

Шевалье остановился и дал понять, что готов внимательно слушать. И юноша объяснился.

Его звали Берtrand Оливье. Он смущенно рассказал, что его положение в доме господ де Корберон стало невыносимым. Ни для кого здесь не секрет, что он является незаконным сыном владельца замка, некогда соблазнившего дочь лесника. Ему дали образование, и некоторое время он состоял при старице де Корбероне в качестве переписчика и секретаря, но затем ему приказали не показываться в замке. Этого добилась девица де Корберон, не желавшая делить с ним отцовского расположения.

— Я изнываю от безделья и незаслуженной обиды, — с дрожью в голосе говорил юноша. — И умоляю вас: возьмите меня с собой в Париж. В пути я готов быть вашим преданным слугой, а когда мы доберемся до Парижа, я попытаюсь найти там себе работу или службу в королевских войсках и в тягость вам не буду.

Шевалье задумался. Он вспомнил, что ему еще предстоит заехать на обратном пути к графу де Лярже и решил, что иметь с собой слугу вполне соответствует его положению.

— Я согласен, — сказал шевалье. — Но я не хотел бы вызвать неудовольствия со стороны господ де Корберон, и поэтому вы должны проявить сугубую осторожность при своем исчезновении.

— Будьте спокойны, господин шевалье. Я исчезну за день до вашего отъезда и затем подкараулю вас за мельницей у опушки леса.

IV

Граф де Лярже долго не хотел лишать себя чувственных прихотей, и поэтому до сорока лет безвыездно проживал в Париже. Ночи, свободные от любовных приключений, он

проводил за игрой в фараон. Последняя страсть и заставила его внезапно покинуть веселый Париж, жениться <...>^{*} и деньги тестя давали ему возможность проявлять свой столичный вкус. Это выражалось в планировке парка, в устройстве замысловатых бассейнов, окруженных пирамидами остролистника, и в установке задумчивых мраморных статуй.

Уже четыре года предавался он бестревожным радостям идиллической сельской жизни. Красивая графиня дополняла эти радости нескучной любовью. Но появление шевалье оживило старые воспоминания о веселых проделках и об утонченной любовной игре. Граф встрепенулся и, не столько ради гостя, сколько из желания показать своей молодой жене изысканность парижской жизни, он пренебрег простотой сельского уединения и точно распределил часы для приятных развлечений, обедов, ужинов и интимных собеседований. Это отлично удалось ему, и он ощутил извращенную радость, когда убедился, что столичный щеголь, всего только пятнадцать дней отсутствовавший из Парижа, как мальчик влюбился в его супругу и изнывал от скрываемой к ней страсти. И, лукаво усмехаясь, граф не оставил их наедине ни на одну минуту, стараясь безотлучно сидеть между ними.

— Эта провинциалка меня заколдовала, — доверчиво признавался шевалье молодому Бертрану, когда укладывался в постель. — И невозможность овладеть ею бесит меня до чрезвычайности. Неужели же мне так и не удастся наставить графу рога?

Берtran, краснея, опускал свои длинные ресницы и вздыхал.

Так проходили дни. На седьмой день, утром, помогая шевалье одеваться, Берtran сказал ему задыхающимся голосом:

— Господин шевалье! Из подслушанных в людской разговоров я узнал, что графиня к вам неравнодушна, и мне кажется, что, если вы попросите ее о ночном свидании, она

* В оригинальной публ. пропуск строки (*Прим. сост.*).

не решится отказать вам.

— Ты думаешь? — вспыхнув, спросил шевалье.

— Я уверен, — ответил Берtran и, точно глотая судорогу, шепотом добавил:

— Только не откладывайте этого, господин шевалье. Я же берусь еще сегодня передать ей вашу записку.

V

В ответном письме, которое Берtran принес от графини, торопливым почерком было написано:

«Мы встретимся в час ночи в голубой беседке. Но я ставлю условием, что это случится не ранее кануна вашего отъезда. При этом умоляю вас — будьте осторожны и не выдавайте себя ни взглядами, ни словами! С не меньшей осторожностью ведите себя и в беседке, потому что ночью по парку бродят сторожа».

— Берtran! — вскричал шевалье, в восторге обхватив своего слугу за талию. — Это больше, чем я мог ожидать. Браво, Берtran! Браво! Из тебя выйдет толк. А я, в свою очередь, не останусь перед тобой в долгу. Но почему ты так краснеешь?

С этими словами шевалье посмотрел на себя в зеркало, затем схватил трость и поспешил в парк, к голубой беседке, чтобы тщательно осмотреть место предстоящего любовного поединка.

Вернувшись, он мечтательно сказал Берtranу:

— Конечно, я предпочел бы нежность графини впервые изведать в широкой кровати эпохи покойного короля. Но приходится мириться с обыкновенной садовой скамейкой. Ах, Берtran, Берtran! Чувственные образы — самые запоминающиеся образы. Ты поймешь это только впоследствии. Но перестань так краснеть. Меня это порядком начинает раздражать!

VI

Нетерпеливо выжидая приближающийся час своего вступления в блаженный Элевзис, шевалье готовился про себя подобающие слова, с которыми он думал обратиться к графине, когда она войдет в беседку.

В этом обращении он называл ее целомудренной Дианой, с трудом склонившейся на его горячую просьбу, и просил простить ему дерзость неожиданного вызова в полунощный час.

«Я бы хотел (так собирался он сказать ей), чтобы наша первая встреча произошла в сталактитовом гроте под мягкий ропот освещенных фонтанов или чтобы я нашел вас в большой перламутровой раковине, из которой сверкала бы ваша розовая нагота. Но безжалостные обстоятельства пожелали избрать местом нашей встречи деревянную беседку. Минуты нашего свидания ограничены. Вас терзает естественная при вашей неопытности тревога опасности. А между тем, перед моим внутренним зрением уже мелькает красная тень Эрота, мешающего мне быть рассудительно спокойным. Графиня! Вы видите перед собой человека, с первого же мгновения вами обольщенного. Подарите же — не рассуждая — ему свою нежность, и тогда эта встреча на всегда останется в моей памяти, как единственно прекрасная и счастливая. О, не призывайте меня к благородному и к осторожности. Я умышленно не взял с собой шпаги, ибо даже не намерен защищаться, если бы кто-нибудь помешал мне: Любовь и Смерть нередко целуют друг друга в уста, и я готов это испытать, если так будет угодно Судьбе».

Но шевалье не довелось произнести этих слов. Когда он вошел в беседку, графиня уже ждала его. В темноте он угадывал ее нежное розовое и улыбающееся лицо. В неистовстве желания он быстро приблизился к ней, притронулся к ее плащу и тотчас же ощущил, как ее тонкие холодные руки судорожно замкнулись на его затылке.

VII

Через час колокол на башне прозвучал два раза. Графиня вскочила.

— Тише! — произнесла она шепотом и замерла, точно к чему-то прислушиваясь. Затем она бросилась к выходу.

— Сударыня, — с мягким упреком сказал шевалье. — Напрасная тревога. Мой слуга Бертран ловок и умен. Еще задолго до нашего свидания он спустился в парк, чтобы отвлечь ночного сторожа подальше от беседки.

И, так как графиня ничего не ответила, шевалье сделал несколько шагов вперед, ощупывая вокруг себя немое пространство. Никого не было. Кругом стояла оцепенелая тишина. Над беседкой ярко сверкали звезды Кассиопеи. Шевалье подождал еще несколько минут, осторожно обошел беседку и понял, что графиня, чего-то смертельно испугавшись, убежала домой. Тогда шевалье плотно завернулся в плащ и медленными шагами, вдыхая холодный воздух, направился к себе, волнуемый сладостными воспоминаниями о только что прошедшем.

— Бертран! — сказал он ликующим тоном, сбрасывая с себя плащ. — Графиня очаровательна. Она любит наслаждение и умеет доставлять его. А главное, она отказалась, — чтобы не терять времени, — от всякого жеманства, отлично понимая, что в таких условиях оно неуместно. И какое у нее прекрасное тело! Но представь себе! Она явилась в одной сорочке, прикрытая одним только плащом. Ты понимаешь? Нет, ты еще ничего не понимаешь. Ты слишком молод для этого. Но честное слово, если бы я не знал, что она четыре года замужем, я бы подумал... Боже мой, она, очевидно, поранила себя о скамейку. Вот следы крови. Бедняжка!

Бертран умоляющее сказал:

— Разрешите мне, господин шевалье, пойти спать. Я сильно prodрог, гуляя с ночным сторожем. К тому же мы завтра уезжаем достаточно рано.

VIII

Колыхаясь в карете, шевалье мечтательным голосом продолжал говорить все о том же — о вчерашнем своем приключении с графиней де Лярже. Он был восхищен быстротой одержанной им победы и испытывал потребность посвятить молодого Бертрана в тонкости своих переживаний. Вдобавок он смотрел на юношу, как на Телемака, а на себя, как на Ментора, умудренного опытом сложной жизни.

— Как жаль, — говорил шевалье, — что это случилось в потемках, а не в освещенной спальне с зеркалами, которые умножают позы и этим усиливают наслаждение. Впрочем, ты этого не можешь понять, мой милый Бертран, раз ты еще не изведал любовной страсти. Но какая притворщица, эта графиня! Прощаясь с нею, я улучил момент, когда граф отошел в сторону, и напомнил ей о голубой беседке и спросил, зажила ли у нее царапина. Представь себе! Она сделала такое удивленное лицо, точно впервые слышит об этом, и нисколько не смущилась. Кстати, в награду за твою ловкость я в Париже представлю тебя маркизе де Бельфель. Она, правда, стара, но любит мальчиков и щедро вознаграждает их. Не смущайся, Бертран! Молодые люди твоего положения только так и могут сделать себе карьеру. Маркиза оценит твое нетронутое целомудрие, а минуты отвращения к ее дряблому телу ты возместишь занятной интрижкой с какой-нибудь из ее смазливых камеристок. Ах, Бертран, Бертран! Чувственные наслаждения — это самое главное в жизни, и поэтому ярче всего они запоминаются. Вот сейчас я вспоминаю, как три года назад в усадьбе господина де Мержера я имел любовную схватку с босоногой пятнадцатилетней крестьянкой. Она отчаянно сопротивлялась, но тщетно... От девушки пахло крестьянским потом. Колени ее были грязны. Я вспоминаю об этом с восхищением! Но чего ты дрожишь, глупый Бертран! Слушай и запоминай. Впоследствии ты вспомнишь о моих словах. Но может быть, я зажег в тебе любовное томление? Потерпи немного. На ближайшем ночлеге я найду для тебя любовницу.

Карета остановилась. Открылась дверца, и в шляпе с желтыми перьями показался кучер. Подобострастным тоном он просил у своего господина милостивого разрешения на два часа задержаться на постоялом дворе, чтобы покормить и напоить уставших лошадей.

Шевалье дал свое согласие и приказал Бертрану сбегать наверх и посмотреть, найдется ли там сносная комната с приличной кроватью.

IX

Сносная комната нашлась. Приняв важную осанку, шевалье поднялся по кривой лестнице и остановился на пороге. Комната была небольшая. На окнах висели ситцевые занавески. Спинка широкой кровати упиралась в приземистый шкаф.

Но шевалье интересовался не обстановкой. С улыбкой он смотрел на оробевшую служанку, которая торопливо смахивала пыль. Молодая женщина была низенького роста, широкозадая, босая, но все же миловидная. Шевалье пристально смотрел на ее голые ноги и усмехался, точно что-то припоминая. Потом он быстро сбросил с себя плащ и с яростью охотника ринулся на служанку. Женщина завизжала.

Берtran был тут же. В сильнейшем смущении он спрятался за шкаф, судорожно сжимая пальцы, и настежь раскрыл глаза. Женщина продолжала визжать.

Вдруг шевалье крикнул:

— Берtran, отстегни шпагу, мешает!

Берtran вздрогнул, запатался, неслышными шагами подошел к своему господину и, отстегнув шпагу, вместе с нею отскочил обратно за шкаф. Его тряслось, точно он голым стоял на морозе. Блуждающим взором смотре он на острие шпаги, которая колебалась в его руках. Он в яростном ожесточении взмахнул шпагой и острием ее рассек розовый затылок шевалье. Брызнула кровь и прозвучал хрип, похожий

на гусиное шипение. Женщина ахнула и начала барабататься, пытаясь скинуть отяжелевшее тело шевалье. Берtran бросился бежать.

Он бежал не оглядываясь, словно одержимый, сначала вдоль улицы, потом через огороды, поля, мимо болотца, окруженнного ивами, и наконец добежал до берега реки. На мгновение Берtran остановился, посмотрел назад и бросился головой вниз.

X

Три дня спустя пастух Жано, приведя свое стадо к водою, увидел в зарослях реки труп Берtrана. Он вытащил его на берег. Зеленый камзол с серебряными галунами навел его на мысль, что это знатный господин и что, стало быть, имеет смысл осмотреть его карманы. В брюках он действительно нашел кошелек, но там оказалась только жалкая медь. Тогда Жано решил забраться в боковой карман Берtrана, но для этого надо было расстегнуть жилет. Жано сделал и это, но вдруг в испуге отшатнулся, потому что Берtrан оказался... женщиной.

*

Впоследствии было точно установлено, что это Луиза, сбежавшая камеристка девицы де Корберон, находившаяся, очевидно, в связи с покойным шевалье. Единственno не понятным осталось лишь то, каким образом шпага шевалье оказалась у нее в руках и почему удар пришелся сзади.

Показания кучера ничего не разъяснили.

Служанка же рассказывала, что когда она, убрав комнату, спускалась по лестнице, то внезапно услышала крик шевалье, а затем увидела, как мимо нее промчался бледный Берtran. Больше она ничего не видела.

КЛЕВРЕТ ХЕРУВИМОВ

Из записной книжки

Было это за год до войны. Я плыл по Волге — от Рыбинска до Астрахани — то есть совершил лучшую и дешевейшую из прогулок, о которой в России, к сожалению, далеко не многим было известно. Такая поездка длилась 8 дней. За это время обычно обзаводились занимательными знакомствами, а пожалуй даже, если вспомнить протяжение Волги, — по-настоящему знакомились и с Россией (тут да позволено будет привести запечатлевшуюся в голове строчку, которую я вычитал из первого номера аксаковской газеты «Русь»: «Мы очень хорошо знаем, что делается в Лиссабоне, но ничего не знаем о том, что происходит в Твери»).

Где-то между Нерехтой и Кинешмой, всматриваясь в проплывавший мимо монастырь, я случайно заговорил с одним пассажиром. Он очень неодобрительно отозвался о монахах, затем произнес несколько слов о религиозной слепоте, и я, признаться, принял его за одного из тех доморощенных рационалистов, которые теперь превратились в неприкрашенных безбожников.

Но к вечеру того же дня я увидел, что ошибся. В его кощунстве чувствовалась чисто религиозная страстьность, напоминавшая страсть последователей «древнего благочестия», т. е. раскольников. Но и раскольником он не был. По крайней мере, слово «Бог» он произносил в каких-то звуковых кавычках, презрительно и неохотно.

В конце концов я не вытерпел и спросил его:

— А какую же религию вы исповедуете?

От прямого ответа он уклонился и только сказал:

— Словесно объяснить это никак невозможно. Да и грех.

Дам я вам книжечку — разбирайтесь сами. В тишине и наедине с собой.

После этого он отправился к себе в каюту и вернулся оттуда с брошюркой, тщательно завернутой в бумагу. Я хотел было тут же, в рубке, начать читать ее, но он воспротивился:

— Читать ее надо без суеты.

И снова повторил:

— В тишине и наедине с собой.

Перед сном я стал читать. «Книжечка» оказалась маляркой тетрадкой, написанной мелким бисерным уставом от руки. Надпись на ней была такая:

«Коллурий от религиозной слепоты. Уничтожитель Тьмы шудейской, христианской, магометанской и буддийской общечеловеческим светом».

Затем в виде эпиграфа стояло:

«Коллурием намажь глаза твои, чтобы ты прозрел, ибо ты слеп, говорит Предвечно-Бессмертный Иегова каждому, владыке, мандарину, аристократу, философу, богослову и талмудисту, омраченному Сatanой Mира сего».

Далее следовала достаточно темная фразеология, из которой в течение нескольких вечеров я не без труда понял, что пафос этого учения заключался в уничтожающей критике всех религий, которые без исключения относятся к уделу Сатаны.

Единственно правильным учением, вдобавок дарующим телесное бессмертие, устанавливается вера в «наипросвещеннейшего и бессмертного Еврея Иегову, Отца, Царя, Учителя и Мессию». Он же еще назывался «Незримый Бого дух».

Однако с большой скорбью указывалось, что наш мир в большей части своей находится в ведении Дьявола. Оттого люди и смертны, ибо самая смерть создана Сatanой. И как только человек заслужить своими грехами полную любовь Дьявола, последний посыпает за своим новым любимцем своего служителя — Смерть. Истинные же иеговиты живут

вечно. Вот почему всякий умерший считается у иеговитов обманщиком и предателем и с трупом его обращаются, как с падалью.

Что же касается Иеговы, то Он отсутствует из Мира уже 6000 лет, но, не желая все же оставлять «без себя» людей, преемственно воплощается всегда в одном лице.

Впервые он с наибольшей полнотой воплотился 2600 лет назад в царе Мельхиседеке, которому некогда подчинился Авраам, а затем воплощался последовательно в Христе, Галилее, Кеплере, Копернике, Ньютоне и еще в каких-то небедомых мне ученых, фамилии которых были, очевидно, перевраны. Последним же воплотителем Иеговы оказался библейский пророк Илья, в свою очередь воплотившийся достаточно курьезно.

Помню, по крайней мере, что, дойдя до последнего «светоносца», я громко в тишине ночи расхохотался, что заставило стоявшего на вахте матроса подойти к окну моей каюты и укоризненно постучаться.

*

Тут я должен сказать, что вышеприведенное изложение иеговитской веры я взял не только из первой тетрадки, а и из последующих книжек, беспрерывно дававшихся мне для изучения. Я успел просмотреть восемь или девять таких поучений, но оказалось, что это еще не все. По словам моего «наставника», их было 32. А так как в Царицыне ему надо было сойти с парохода, он любезно поспешил познакомить меня с «наи важнейшими» сочинениями иеговитов.

В одной из таких наи важнейших брошюр я и узнал, кто является последним богоносцем. Его титул звучал прямо-таки великолепно:

«Я всемирный святитель. Разрушитель всех 666 адских христианств. Брат святых и пророков. Клеврет Ангелов, Херувимов и Серафимов. Артиллерии царя царей генералиссимус. Свет

народам всей земли, диво дивное, чудо чудное, явленное Иеговой на сей планете — капитан Ильин».

*

Мои попытки узнать подробности о капитане Ильине ни к чему не привели. Я понял только, что он где-то за границей, кажется, во Франции и, по-видимому, существует на средства, посылаемые ему местными «светоохранами», а эти, в свою очередь, от каждого прозелита получают десятую часть его заработка. После этого прозелит вносится в «Книгу Бессмертного Существования», в которой заодно, между прочим, отмечается, в каком именно месте на земном шаре новообращенный желал бы в «полном довольстве» провести свое телесное бессмертие. Оказалось, что многие избрали Палестину, другие Америку, третью Новую Зеландию, а большинство почему-то предпочитало Самарскую губернию.

Не знаю, чему я был обязан доверием ко мне иеговитского миссионера — вероятно, тем, что внимательно слушал его и не возражал, — но только распрошались мы крайне дружески. Он даже предложил мне переписываться с ним, хотя осторожности ради не указал адреса, а только просил писать в Царицын «до востребования», такому-то.

Писать я ему не писал — с меня было вполне достаточно того, что я вычитал из его брошюр, — и, признаться, забыл о нем. Но во время войны приехавший из Варшавы знакомый случайно рассказал мне, что знал в Варшаве одного капитана Ильина, который основал какую-то секту, был за это разжалован в солдаты и сослан в Сибирь, а из Сибири бежал за границу.

Вероятно, это и был «разрушитель 666 адских христианств, брат пророков и клеврет серафимов».

АГАСФЕР

Я действительно начну с одного старинного итальянского астролога по имени Гвидо Бонати, который утверждал, что в 1223 г. он встретил человека, бывшего современником Христа...

Так начал мой сосед по скамейке, стоявшей у самого озера.

Откровенно говоря, у меня не было ни малейшего желания выслушивать эту навязанную мне лекцию, но я попался: необдуманный кивок головы и внимательный взгляд в сторону моего соседа мгновенно вдохновили его. Между тем, я очутился у озера вовсе не для того, чтобы с кем-нибудь беседовать.

Я пришел сюда наблюдать весеннее пробуждение природы, что я делал почти каждый день, на несколько часов покидая суетливый Берлин. В загородной тишине я как бы возвращался к склонностям своих молодых лет, когда я любил бродить по весенним дорогам, мимо пашен и лесов.-

На этот раз я был в пустынном Целендорфе и сидел — повторяю — на скамье перед озером, прислушиваясь, как в прибрежных деревьях весело гомозились птицы.

Внезапно, точно в самом деле из-под земли, показался сутулый старик, опиравшийся на грубую самодельную палку, напоминавшую посох. Пристально и недружелюбно он посмотрел на меня, сухо поклонился и сел рядом. Так присидел он неподвижно и молча минут десять, а затем подошел к озеру, собираясь стать на доску, изображавшую нечто вроде пристани для лодок.

Я давно заметил, что доска была гнилая, и она вряд ли выдержала бы тяжесть грузного старика.

— Будьте осторожны, — поторопился я предупредить его.
— Доска гнилая.

Он обернулся, удивленно посмотрел на меня, словно я сказал нечто совершенно неуместное и — высокомерно улыбнулся.

— Мне бояться нечего, — заметил он беспечным тоном, но все-таки доской не воспользовался. Посмотрев вдаль, он вернулся к скамье, снова уселся и только тогда добавил: — Я не боюсь смерти.

Мне не хотелось поддерживать разговор, и я промолчал. Но, должно быть, на моем лице он успел уловить достаточное недоумение и поспешил объясниться:

— Я действительно не боюсь смерти, потому что знаю наперед, что она минует меня. По крайней мере, здесь.

Я презрительно подумал: «Астролог, составитель гороскопов?..».

И из вежливости спросил:

— Вы, вероятно, астролог? Или верите в астрологию?

— О, нет, — ответил он недовольно. — Избави Бог! Этим я не занимаюсь. Астрология — либо шарлатанство, либо речество. И то и другое мне совершенно чуждо. Но, чтобы у вас не оставалось недоумения от только что сказанного мною, я могу пояснить свои слова. Полагаю, это будет вам интересно.

Я кивнул головой.

Старик подумал немного, затем внимательно посмотрел на меня сумрачными глазами и начал рассказывать.

*

— Я действительно начну с одного старинного итальянского астролога по имени Гвидо Бонати, который утверждал, что в 1223 году он встретил человека, бывшего современником Христа. Этого человека, по его словам, звали Буттадеус, что значит «ударивший Господа». А получил он свое позорное прозвище за то, что, когда Христос шел на Голгофу, Буттадеус в фанатичной ярости приверженца старины ударил Его по лицу. И вот, за это Буттадеус будто бы был осужден на вечные скитания. Но я должен сказать, что это неправда. Это клевета. И прежде всего клевета на Са-

мого Христа. Ибо кроткий Христос не мог быть столь мисти-
тельный и жестоким, чтобы обречь кого-то на вечную му-
ку. И Данте поступил совершенно правильно, что в своей
«Божественной Комедии» поместил обманщика Бонати в
один из девяти кругов ада. Но все же неправда продолжала
ться многое столетий, и много почтенных людей прибегали
к этой лжи, чтобы вызывать сугубую жалость к Христу и не-
нависть к Его противникам. Так поступали английский мо-
нах Роджер Вендуэр, путешественник Ян Мехельн, епископ
Шлезвигский Эйцен, Филипп Муске и другие. Даже такой
ученый, как монах Сент-Альбанского монастыря Матвей Па-
рижский, который любил говорить, что «лгать значит ос-
корблять Господа», — и тот прибегал к упомянутой небы-
лице, переиначив имя Буттадеуса в Картафила, не замечая
того, что это имя означает по-гречески «очень любимый». Как же может человек, осужденный Христом на вечную му-
ку, называться «очень любимым»!.. Когда нравы станови-
лись более жестокими, уже недостаточно было рассказы-
вать, что кто-то ударил Христа, пришлось снабдить этого
дерзкого человека железной перчаткой. Но опять-таки: я
утверждаю, что и это неправда. Дело обстояло не так, и мо-
жете мне поверить, что я лучше других знаю, как это случи-
лось, потому что... потому что я и есть этот человек, име-
нуемый Вечным Жидом. Вы меня слушаете?

*

Я был тогда совсем молодым и стоял на пороге своего дома, наблюдая проходившую мимо меня толпу. С крика-
ми и насмешками она сопровождала Христа, шедшего на Голгофу. Я видел Его впервые, но знал, что Он объявил Се-
бя Сыном Человеческим и обещал воскреснуть после смер-
ти, чтобы войти в Царствие Свое. В нашей религии ничего
об этом не говорилось, и я считал, что Христос лжепророк,

каких было немало в те времена. И поэтому, когда, изнемогая под тяжестью креста, Иисус остановился, чтобы отдохнуть, я насмешливо закричал ему: «Чего же ты медлишь? Тебе ведь смерть не страшна!». Христос с улыбкой посмотрел на меня и сказал: «Я пойду. Но ты будешь ждать Мое го возвращения, чтобы убедиться в истине всех Моих слов». Я вернулся в свой дом, где жил мой отец-плотник и моя мать-портниха, шившая платья для левитов. Очень скоро я забыл о Христе, как и многие из моих соплеменников, и вспомнил о Нем только через много лет, когда уже был стар. К тому времени император Тит Веспасиан разрушил Иерусалим, моя семья вынуждена была бежать из Палестины в Александрию, один за другим умирали мои сверстники, а я, немощный, убогий и пресыщенный годами, еще не чувствовал приближения смерти и испытывал худшее, что может испытывать человек, ибо я видел смерть своих детей и пережил всех своих внуков. Вот тогда я вспомнил о словах Иисуса из Назарета и рассказал о них кому-то из окружающих. Мой необычный рассказ дошел до людей, называвших себя христианами, и они стали толпами приходить к моему дому, чтобы упрекать меня за ошибку, содеянную в молодости и по неразумению. И я бежал от них. Бежал сначала на остров Кипр, оттуда в Рим, чтобы, подобно капле, попавшей в море, затеряться среди множества разноплеменных людей, населявших этот великий город.

*

Но слух обо мне неотступно сопровождал мои скитания. Где бы я ни появлялся, до меня тотчас же доходил рассказ о блуждающем по свету еврее, от которого отворачивается даже смерть. Мне приписывали разные чудодейства, утверждали, что по ночам у меня на лбу горит крест, что старикам я могу возвращать молодость, что я узнаю судьбу по созвездиям и что, спознавшись с дьяволом, я из навоза умею

делать полноценное золото. Все это неправда. Правда лишь то, что я не умираю и каждые семьдесят лет возвращаюсь на прежние места... В своих скитаниях я питался подаянием, которое давали мне мои единоверцы, но чаще всего я зарабатывал хлеб своей советами житейского опыта, мелкой торговлей и рассказами про старину. Вся история человечества прошла перед моими глазами, и вряд ли кто-нибудь другой мог так легко сопоставлять настоящее с прошлым. К тому же Господь одарил меня памятью, и в ее архивах сохранилось все. Но дар этот поистине двусторонний, ибо, сохраняя воспоминания о хорошем, он сохраняет и воспоминания о злом, и так как добродетели всегда было мало на земле, — боль преобладала. Оттого я сутул и согбен, и в глазах у меня люди видели печаль тысячелетий. И хотя других внешних признаков на мне не было, но меня действительно часто узнавали, точно Господь в самом деле наложил на меня нестираемый знак, пугавший людей. К тому же смерть упорно избегала меня, что повергало в изумление окружающих и еще более отмечало мое избранничество. Вот почему, чуждаясь пристальных взглядов и переходя с места на место, я стал менять свое имя, дабы скрыть свои следы. Я выбирал имена простые, обычные, ничем не желая выделяться, но людская молва именовала меня вычурно-звучно, называя то Буттадеусом, то Фалсатом, то Малком, то Родуином, то Картафилом, то Агасфером. Только один раз — это было в Брабанте в 1640 г. — я избрал для себя имя Исаак Лакедем, что означает «человек древнего мира», но когда меня узнали, я снова переменил свое прозвище на простое, незначительное и с тех пор никогда не поступаю иначе. Легенда обо мне пронеслась по всему миру, но в этом я повинен разве только тем, что, спасаясь от указующих перстов, я неустанно блуждал по всей земле — по югу Франции, по Рейну, в Нидерландах, по Богемии и Польше — и запечатлевался в памяти людей, склонных к таинственному и необычному. И разумеется, всегда находились тщеславные и корыстные люди, умело пользовавшиеся этими слабостями окружающих, чтобы плениТЬ их воображение тайным признанием, что они, как и я, никогда не умирают и помнят Хри-

ста. Так говорил о себе Калиостро, так поступал граф Сен-Жермен, тоже выдававший себя за Вечного Жида, вдобавок будто бы знавшего составы жизненного эликсира. Он действительно был еврей, но из Эльзаса, по фамилии Эймар, и на вечность не был обречен. Он был просто обманщик.

*

Я уж говорил, что время от времени возвращаюсь на прежние места. Но есть страна, которую я некогда покинул, но которую я больше не видел, предназначив ее для последнего убежища, как предел моих блужданий по земле. И вы догадываетесь, конечно, что я говорю о той самой стране, где я родился и откуда я начал свой долгий путь. После многих веков отсутствия сейчас я впервые направляюсь туда и на пороге своего старого дома буду трепетно поджидать возвращения Иисуса с Голгофы, который обещал мне вернуться и принести с Собою царство не от мира сего, изгоняющее всякую неправду и несправедливость. Он обещал это! И если действительно так будет, моим странствиям наступит конец и из мучительной необычности я перейду к обыденному и успокоюсь, как и все другие.

*

Он вздохнул и замолчал. Потом вдруг тревожно засуетился, быстро застегнул пальто, поставил воротник и, поклонившись, зашагал, грузно опираясь на палку. Я с изумлением смотрел ему вслед, стараясь объяснить себе, что это за человек, проникновенно искренним голосом рассказавший мне неправдоподобную историю, и поэтому не заме-

тил, как с противоположной стороны появилась женщина с испуганно-озабоченным лицом.

— Не видали ли вы здесь старика с палкой? — спросила она.

Я ответил утвердительно и показал ей, в какую сторону он только что ушел.

— А кто это такой? — полюбопытствовал я. — Он рассказывал такие странные вещи.

Она на мгновение запнулась и смущенно объяснила:

— Это профессор университета. Историк. Из-за еврейского происхождения его лишили кафедры. Это так подействовало на него, что он психически заболел и почти каждый день улучает момент, чтобы уйти в Палестину. Часами мне приходится разыскивать его. Я состою при нем в качестве сиделки. Нелегкое занятие ухаживать за душевнобольным.

И кивнув мне головой, она торопливо ушла, чтобы догнать Агасфера, мечтающего о покое.



ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Профессор Фридрих Квант сидел у себя в кабинете и спокойно работал над этнологическим исследованием под названием «Чаши из человеческих черепов и тому подобные примеры утилизации трупов». Эта работа требовала кропотливых разысканий материала по древнейшим сочинениям, начиная с Геродота, и поэтому подвигалась медленно. Квант начал свой труд в первый год войны, которой, кстати сказать, он и был обязан возникновением этого интересного исследования, а между тем, до сих пор было написано всего лишь 180 страниц.

Основной идеей его сочинения была мысль, еще высказанная знаменитым ученым Яковом Гриммом, утверждавшим, что варварство является необходимой ступенью человеческого развития. Квант же дополнил идею своим собственным утверждением, что человечество, отбрасывая варварские пережитки, идет по верному пути морального прогресса.

Варварство было, правда, позади, и вряд ли люди когда-нибудь к нему возвратятся (так рассуждал Квант), но для науки нет давности фактов, и профессор, погружаясь в пыль давно исчезнувших веков, все же воспринимал прошлое с взволнованностью современника.

Он только что закончил выписку из Ксенократа Афродизиадского (1-й в. по Р. Х.), обстоятельно описывавшего действие, производимое съеденным мозгом, мясом и печенью человека, — как в кабинет вошел его сын, гимназист предпоследнего класса, и надтреснутым голосом молодого петуха, отведя лицо в сторону, сказал:

— Я хотел с тобой поговорить.

— Опять денег? — презрительно спросил отец.

— Нет, — с хмурым раздражением ответил сын. — О другом.

Профессор отложил в сторону перо, предварительно подправив букву «К» в слове «Ксенократ», и грузно повернулся

на 90 градусов.

— Только скоро, — сказал он недружелюбно. — Я занят.

Юноша живописно прислонился к книжному шкафу, точно собирался декламировать из Шиллера, затем вздохнул и сказал:

— Я решил бросить гимназию.

— Как? — с гадливостью закричал отец. — Бросить гимназию? Когда осталось четырнадцать месяцев до окончания? Ты в своем уме?

— Да, я в своем уме, — твердо заявил сын. — Свое решение я тщательно обдумал. И у меня много соображений по этому поводу.

— Соображений? Вздор! — презрительно бросил отец.

— Воображаю.

— Кончать гимназию не имеет никакого смысла, — начал сын. — Германия задыхается от обилия врачей, адвокатов, инженеров, химиков и ученых. И все эти люди сейчас голодают.

— Ну и поэтому? — подхватил отец и выжидающе посмотрел на сына.

— Поэтому... — немного смутившись, продолжал гимназист, очевидно, предполагавший иначе направить свой монолог. — Поэтому я решил оставить гимназию.

— Это я уже слышал! — резко прервал его профессор. — Но что же ты намерен делать?

Юноша проглотил нервную судорогу в горле и сказал:

— Я не могу говорить, когда ты меня перебиваешь. Я... то есть я хотел сказать, что к такому положению... ненормальному положению... привела вся ваша система.

— Наша система? — переспросил отец и беспомощно оглянулся, точно ища свидетелей только что прозвучавшей нелепости.

— Да, ваша система! — упрямо подтвердил сын. — Твой отец и отцы твоих сверстников заботились о будущем своих детей, и тебе не трудно было жить. А твое поколение — думало только о себе, проиграло войну и усложнило жизнь. Ты, будучи в гимназии, заранее мог знать, что поступишь в университет, а по окончании его получишь кафедру и же-

нишься на девушке с приданым. Вопрос был только во времени. Я же своего места на земле не предвижу. Германия обеднела. Германия задыхается от избытка специалистов. На каждую освобождающуюся должность имеются тысячи претендентов. Успеха могут добиться только наиболее выдающиеся, наиболее изобретательные, может быть, даже гениальные. Между тем, я к таким не принадлежу. А жить, то есть, я хотел сказать, пользоваться жизнью я хочу так же, как и другие.

— Поэтому..? — снова отрезал отец, на этот раз нервничая.

— Поэтому... я...

Сын опустил голову, покусал нижнюю губу и, набрав воздуха в легкие, сказал:

— Поэтому я — да и многие мои товарищи, — тоже решили, что прежде всего надо изменить всю систему. Вы усложнили жизнь. Надо ее упростить. Надо начать все сначала. Надо внести справедливость.

— Коммунизм? — яростно закричал отец.

— К черту коммунизм! — с мрачным восторгом возразил сын. — Никакого коммунизма. Просто надо уничтожить всех паразитов, всех посредников, не создающих никаких ценностей, всех сентиментальных гуманистов. Ты меня извини, но я знаю, над чем ты сейчас работаешь. Эта история черепов не только никому не нужна, но еще и вредна. Потому что твоя работа проповедует пацифизм. А пацифизм ослабляет Германию.

— Ты осел! — закричал отец. — И притом осел, которого мало били!

— Обожди. Выслушай меня до конца. Да, да, прежде всего надо поднять Германию, которую вы позволили унизить. А для этого надо сначала поднять ее дух. А дух можно поднять только сознанием, что германская раса — это первая раса на земле. И поэтому долой всякое смирение, покорность и все то, что к этому приводит, то есть, главным образом, христианство!

— Как? Христианство? — в ужасе переспросил отец, и на лице его застыло омерзение.

— Да, да, христианство. Потому что это религия слабо-сильных, религия тех, кто ощущает свое ничтожество. Религия, нужная тем, кто не может рассчитывать на свои кулаки и поэтому пытается воздействовать на врага путем взвивания к его совести. Это — духовная джиу-джицу, сила слабых, и недаром придумали христианство ничтожные, трусливые евреи. Древнему германцу не нужна была эта лукавая джиу-джицу. Когда перед ним находился враг, он просто ударял его топором по голове. Но прибегал монах, хватал его за руку и лицемерно показывал на небо. Да, да, христианство расслабляет. Христианство отнимает волю, убивает чувство чести. Поэтому — долой христианство!

Старый профессор вскочил, бешено замотал головой и задыхающимся, астматическим голосом закричал:

— Вон из моего дома! Я не желаю иметь такого сына. Вон!

*

Немного отдохнувшись, старик снова сел за письменный стол и, дрожащими руками раскрыв наудачу том «Германских древностей» Авентина, натолкнулся на следующее место:

«Черепа убиваемых в сражении неприятельских предводителей и знати они (германское племя лангобардов) украшали оправой и давали пить из них вино в праздничные дни тем, кто убил в открытом бою своего врага».

Сделав эту выписку, он прибавил к ней еще одну, найденную им сегодня в университетской библиотеке:

«Павел Диакон в своих “Деяниях лангобардов” рассказывает, что он сам видел ту знаменитую чашу, из которой король Албоин (умер в 574 г.) заставлял свою жену Розамунду пить вино. Чаша же была сделана из черепа ее отца».

Довольный своими удачными выписками, профессор совершенно забыл о сыне и продолжал работу с невозмути-

мостью вполне спокойного человека.

*

Мать не присутствовала при разговоре и поэтому никакого гнева против сына не испытывала. Отрывочные объяснения мужа, преисполненные яростного негодования, показались ей малоубедительными для окончательного разрыва с сыном: ну, что там, отцы и дети почти всегда не понимают друг друга! И когда через два дня сын робко явился с черного хода, она не очень резко пробрала его, а затем дала ему поесть и заставила переменить белье. С того времени он стал регулярно приходить каждые два-три дня в те часы, когда отец был в университете.

— А что же ты теперь делаешь? — спросила она его однажды.

— Я получил работу в газете, — надменно ответил сын.

— В какой газете?

Он назвал национал-социалистический листок.

— Ты там пишешь?

— Ну да.

Мать изумленно пожала плечами: о писательских талантах сына она никогда и не подозревала.

— А что же будет с гимназией?

Он поспешил успокоить ее:

— Не тревожься. Гимназия мне больше не нужна. Она научила меня думать и излагать свои мысли. Больше мне ничего не надо от нее. Потому что мысли у меня имеются. А то, что я там пишу — поднимает дух Германии. Теперь это самое важное и необходимое. Я подписываюсь «Арминий».

— А почему ты ничего не спрашиваешь об отце?

— Отец меня не интересует. Он из породы тех, которые разбираются только в книгах, а живой жизни не ощущают.

Но он говорил неправду. Мысль об отце сверлила его беспрестанно, подхлестываемая упорным желанием причи-

нить этому устаревшему человеку какую-нибудь большую досаду, сильно задеть его и доказать, что он глупо и непростиительно заблудился в десятилетиях. Германия начинала новую жизнь. Германия зажигалась новым огнем. Германия переживала вторую молодость. А сентиментальные учёные кроты тупо копались в затхлой книжной пыли и застилали ею новые светлые пути.

Это неотступное желание «доказать» порождало в нем разные планы злых воздействий на отца, вплоть до доноса, и вот однажды, явившись к матери, он с хмурой взволнованностью сказал:

— Я бы хотел помыться в ванне.

— Ну конечно! — воскликнула мать. — Я давно собиралась сказать тебе об этом.

Почему-то в его просьбе, произнесенной смятенным голосом, ей почудилось раскаяние, которое приведет к примирению с отцом. Она радостно засуетилась. «В конце концов он должен понять, что родители не могут желать зла своим детям», — думала она, извлекая из комода чистое белье, и даже тихо запела.

А тем временем сын, хищно изогнув спину, мягкими шагами пантеры пробрался в кабинет, отыскал папку с рукописью отца о «Черепах» и юркнул в ванную комнату. Там он быстро помылся и, торопливо одевшись, выбежал из дома, отказавшись от заботливо приготовленной еды.

Четыре дня спустя он прислал отцу следующее письмо:

«Твою рукопись о черепахах я уничтожил, потому что слезливо-сентиментальную идею, положенную в основу ее, я считаю вредной и даже оскорбительной для Германии. Рекомендовать идилию аркадских пастушков — сейчас неумно. Проповедовать слюнявый гуманизм — преступно. Словом, труда твоего больше не существует. Но фактами, которые ты педантично подбирал в течение 17 лет, я превосходно воспользовался для своей статьи. В ней я утверждаю, что мы должны идти по стопам наших воинственных предков, и слававо-приторной и фальшивой Лиге Наций, приглашающей нас в скучный христианский рай, мы должны предпочесть рай древних германцев, где герои пируют за

столом Вотана и пьют пенистое пиво из неприятельских че-
репов».

К письму была приложена напечатанная статья, за под-
писью «Арминий».



ДЖИБУТИ

Рассказ в письмах

Письмо первое

...Я еще никогда не видел войны, но зато частично познакомился с тем, что она порождает. И наглядная иллюстрация этому — Джибути.

До войны, точнее до того, как Муссолини стал посыпать в Сомали и Эритрею свои войска, Джибути был, вероятно, самой маленькой военной гаванью, с населением в 600 человек, состоявших из захудальных чиновников разного рода ведомств, от которых Франция либо желала избавиться, либо как-нибудь пристроить их, — и приезжих купцов.

Сейчас в Джибути несколько десятков тысяч человек, — разных наций и разных цветов кожи, — и вы, конечно, представляете себе ту пеструю толчею, которую эти господа образуют — левантинцы, греки, англичане, японцы, арабы и даже неизвестно для чего прибывшие сюда американские миссионеры. Большинство из гостей — «рыцари конъюнктуры», желающие так или иначе поживиться за счет воюющих. Общее у них — хищное выражение лица и авантюристическая напряженность в глазах. Таковы, вероятно, в стаину были конкистадоры, а в более близкие времена — золотоискатели в Клондайке, так хорошо изображенные Джеком Лондоном. Но пока что все эти акулы шныряют, шушкаются, галдят, ищут знакомств и связей и стараются угадать, какой «товарец» следует выписать сюда — кокаин, может быть, зонтики, может быть, термосы, а то, пожалуй, просто две дюжины проституток. Немало здесь и шпионов, а еще больше желающих стать таковыми.

В Джибути три жалких отеля, но по распоряжению властей все они предоставлены прибывшим французским офицерам. Поэтому все остальные смертные вынуждены ютиться где попало. Ночуют в кафе, в ресторанах и даже на бал-

конах, которые тоже сдаются внаем. Вот почему предпримчивые люди уже начали спешно строить дома из ящиков, в которых привозят сюда разного рода товары. Сойдет!

Кафе и рестораны, понятно, переполнены, и очень часто не хватает пива, содовой воды, виски и вина. Но вот приходит пароход, и запасы пополняются.

Когда же спускаются сумерки, кафе переполняются еще «больше». В духоте и облаках табачного дыма сидят друг у друга на коленях, стоят у стен, устраиваются на подоконниках. И так как в общем скучно и неинтересно, то владельцы кафе развлекают своих гостей танцующими сомалийками и доморощенными герлс — под звуки старых хриплых граммофонов. Скоро, скоро появятся здесь ищащие приключений женщины, кокотки, кокайн и джаз-банд, и скука будет развеяна. Говорят также о возникающем «шикарном» публичном доме и, стало быть, цивилизация приближается к нам гигантскими шагами.

О самой войне, несмотря на то, что она происходит поблизости, сюда доходят только фантастические слухи, которые назавтра же опровергаются другими такими же фантастическими сведениями. Поэтому — мой совет — не доверяйте телеграммам, исходящим из Джибути, ибо в них больше необузданной лжи, чем правды.

Время от времени прибывает из Аддис-Абебы поезд с беженцами-европейцами. Тогда двуногие акулы бешено устремляются на вокзал, чтобы разнюхать, разузнать что-нибудь об абиссинской «конъюнктуре» — не надо ли чего-нибудь негусу, не продает ли что-нибудь негус. Увы, увы! Абиссения богата своими недрами, но казна ее ничтожна, и о поставках и подрядах акулы мечтают совершенно напрасно.

Недалеко от нас — в британских владениях — внезапно, точно в сказке, вырос новый порт Зайла. Без шума и без хвастовства англичане чуть ли не в два месяца углубили гавань, выстроили набережную, и теперь в Зайлу смогут заходить большие военные корабли. Вот там акулы, пожалуй, действительно смогут поживиться, и часть их, вероятно, туда и переберется. Впрочем, этого добра достаточно повсюду...

Письмо второе

...Вчера мой полковник дал мне поручение отправиться с небольшим отрядом к границе Абиссинии в юго-восточном направлении, чтобы сменить там другой отряд. Думаю, что тут преследуется не стратегическая, а чисто воспитательная задача — ознакомить меня и моих солдат с условиями быта в этой местности. Меня это очень радует, потому что дальнейшее пребывание в Джибути, в гнусной атмосфере хищнических вожделений, назойливости и неприкрытого цинизма действует тошнотворно. Кстати сказать, я начинаю думать, что среди людей действительно существуют разные породы, и во всяком случае их не меньше двух — высшая и низшая. Те, которые заполняют улицы и кафе Джибути, само собой разумеется, принадлежат к низшей породе, которую следовало бы отнести к так называемому отребью человечества. И, отправляясь в первобытные места, я заранее предвкушаю повторение той душевной умиротворенности, которую некогда испытывал, читая шатобриановского «Рене». Кто знает, может быть, там я влюблюсь в дикарку Селюте и поселюсь с ней если не в вигваме, то в хижине, выстроенной из хвороста и глины...

Между прочим: пустыня, залитая лунным светом, — зре лище неизъяснимое...

Письмо третье

...Я уверен рисовал себе, что буду писать вам буколические письма в духе благоуханных стихов Франсиса Жамма, но должен признаться, что с первого же дня моего прибытия в сомалийскую деревушку, я преисполнился злого и яростного омерзения, — не к людям, нет, а к той мелкой твари, которой щедро одарила природа эту местность и от которой положительно некуда укрыться.

Как-никак, от назойливости человеческой можно отде-

ляться — презрительной ли интонацией, окриком, угрозой или уединением. Но от назойливости миллионов москитов, муравьев, клещей, стоножек и скорпионов — спасения нет.

Укусы москитов доводят до бешенства. Пронырливость особого вида зловредных клещей, впивающихся в тело, несмотря на плотно застегнутую одежду, и даже забирающихся под ногти, — вызывает адскую боль. Тело воспаляется и начинает гноиться. Перед сном я неизменно занимаюсь тем, что при помощи булавки извлекаю этих паразитов из своей кожи. Моя добыча еще ни разу не была меньше полусотни.

Стоножка — коричневый червь, размером в палец — это просто чудовище! Меня еще Бог миловал от него, но мой капрал, укушенный во время сна стоножкой, плакал от боли, как ребенок, и был уверен, что кто-то из озорства прикоснулся к его ноге раскаленным железом. Полчаса спустя нога посинела и до того стала чувствительной, что нельзя было к ней прикоснуться. Затем она была парализована. Капрала пришлось спешно отвезти в госпиталь в Джибути, где на третий день ногу пришлось ампутировать.

Об укусах скорпионов вы, вероятно, слышали. Укусы не смертельны, но тело пухнет прямо на глазах, как раздуваемый резиновый шар. Нападают скорпионы обыкновенно ночью. Чтобы спастись от них, ножки от своей койки я погружаю в миски с водой. Но скорпионы изворотливы, как контрабандисты. Они поднимаются по стенке на потолок палатки и оттуда бросаются на меня, едва только я смыкаю глаза. Как вы сами понимаете, приходится все время бодрствовать.

Борьбу с муравьями вы себе легко можете представить, но только имейте в виду, что их миллиарды. Укусив, они зарываются с головой и клещами в тело и, когда вы отрыгиваете такого негодяя, вы не замечаете, что голова его осталась в коже. На другой день это оказывается наглядно и ощутительно — ваше тело покрывается гноящимися ранками, вызывающими нестерпимый зуд.

Так обстоит дело с находящимся здесь европейцем (сомалийцы этот кошмар переносят легче), который ни на одну минуту не может забыть об угрожающей ему опасности

от маленьких, не всегда видимых бестий. Целые дни, чем бы вы ни занимались, вы беспрерывно должны быть настороже, и мысли ваши то и дело перебиваются страхом, что москит снабдит вас малярией или что какая-то тварь забралась в рукав, за воротник или в ухо. Право, нужен талант Эдгара По, чтобы описать эти страхи, мучения и бессильную ярость, особенно вочные часы, — а не мое слабое перо. Так, повторяю, обстоит дело с человеком, попавшим в это адское место, не предусмотренное Данте с его девятью кругами ада. Но, как известно, человека сопровождают обычно предметы, без которых он никак не может обойтись, и чем культурнее он, тем больше предметов при нем находится. В неблаговолении к человеку здешняя природа направила свое жало не только против него лично, но и против его вещей. И безукоризненным орудием этого неблаговоления являются термиты, огромные серые муравьи с крепкими жвалами, работающими неустанно. Термиты пожирают все. Хлеб, мясо, сапоги, солдатские ранцы, ремни, палатки, платяные щетки и даже деревянные ящики, в которых лежат патроны.

Термиты ползут миллионными полчищами, и ни дым, ни вода, ни сера их не останавливают. Говорят, что их устрашает только лизол — по крайней мере, итальянские солдаты отчасти с этой целью им снабжены. Но я не верю в могущество лизола. Я думаю, что единственное средство против термитов — это цианистый калий, да и то надо травить каждого термита в отдельности. Когда утром вы видите, что сделали эти омерзительные гадины за одну только ночь — съеден весь провиант, вместе с ящиком, вместе с палаткой, вместе с шестами, веревками и ремнями — у вас от бессилия опускаются руки.

В Джибути мне рассказывали о следующем случае (тогда, скажу откровенно, я этому не поверили). Однажды везли в Аддис-Абебу по железной дороге рояль. По какой-то причине, кажется, из-за порчи товарного вагона, пришлось этот рояль в пути перегрузить в соседний вагон. С непривычки грузчики возились с перегрузкой очень долго и в конце концов, ввиду наступивших сумерек, рояль оставили у полот-

на дороги, чтобы переноску закончить на другой день. И когда грузчики утром подошли к роялю, — его не оказалось. Термиты съели его целиком! Даже клавиши и струны! Осталось только несколько винтов и медные педали.

Что там пулеметы, танки и пушки по сравнению с этими все уничтожающими полчищами, которые вдобавок безнаказанно затем удаляются! И я должен признаться, что совершенно не представляю себе, как могут все это переносить итальянские солдаты, которым ведь еще надо бороться с абиссинцами. Недаром один из абиссинских полководцев заявил:

«Против итальянцев у нас имеются верные союзники — болезни и насекомые. И итальянцам понадобится гораздо больше медикаментов, чем снарядов».

Это сущая правда.

Письмо четвертое

...Последнее мое письмо было написано шесть дней назад. За это время я успел заметно похудеть, от бессонных ночей всухли веки, потому что из-за неустанной борьбы с насекомыми приходится жертвовать сном. Нервы, естественно, пришли в полное расстройство. Зуд не утихает ни на одну минуту. Ходишь и чешешься. Отдаешь распоряжение — и чешешься. Лежишь на койке и яростно скребешь то ногу, то спину. Вот сейчас, когда я сижу и пишу это письмо, левая рука беспрестанно обшаривает все тело, покрытое струпьями. В таком же состоянии находятся и мои солдаты.

Мне очень стыдно признаться, но я страстно мечтаю о возвращении в Джибути и при каждом телефонном звонке стремглав бросаюсь к аппарату с тайной надеждой, что услыши из полковой канцелярии приказ немедленно вернуться. Джибути, Джибути! Если у вас еще сохранилось мое первое письмо, в котором я не жалею презрительных слов по адресу собравшихся там авантюристов, — пожалуйста, уничтожьте его. Беру обратно все свои злые слова. Какого бы низ-

кого уровня ни были эти хищники, спекулянты и современные конкистадоры, но в их обществе я все же оставался мыслящим человеком, и никто из них не причинял ущерба моему внутреннему миру, не говоря уже о том, что никто меня не кусал и не угрожал смертью. Мало того, в Джибути я не чувствовал себя бессильным. Здесь же я больное, беспомощное животное с очень примитивными мыслями и желаниями, которые исчerpываются ничтожным циклом ребяческих силлогизмов. Другими словами, здесь я не *Homo sapiens*. К тому же, я полон страха, который не покидает меня ни на одну секунду.

Люди, двадцать лет назад сражавшиеся на Марне, беспрестанно видели рядом с собой смерть и вряд ли надеялись уцелеть. Но каждый из них, несомненно, испытывал некоторое удовлетворение, направляя в сторону неприятеля пулю или пушечный снаряд. Он боролся с врагом на равных основаниях с ним. Оружие было одинаково — у тех и у других. Силы — также. Решающую роль играла сила умственная — сообразительность, догадка, дальновидность, расчет. Здесь же я чувствую себя среди миллионов каннибалов, в данном случае крошечных и не всегда видимых, которые привязали меня к дереву и точат ножи, чтобы начать потрошить меня. При чем здесь мой интеллект, моя логика, моя сообразительность! И даже револьвер и ружье нисколько не могут мне помочь. Джибути, во что бы то ни стало Джибути!

Пусть я там снова окажусь в обществе жадных и циничных хищников, в поте лица добывающих хлеб из чужого кармана. Пусть меня снова будут развлекать потрепанные герлс, вызывающие в памяти рисунки Бердслея и Фелисьена Ропса. Пусть! Но зато я буду в обществе людей, с которыми в случае чего как-никак можно бороться, столковаться и которых можно убеждать. На худой конец, можно просто уйти от них либо в себя, либо в свою работу. Проще говоря, я хочу к человеку, к минимуму цивилизации, достаточно с меня омерзительных насекомых, низводящих вавшего покорного слугу до уровня вшивой человекообразной обезьяны. Джибути!

Сейчас это стало у меня навязчивой идеей, и я боюсь, что нервы мои не выдержат.

Письмо пятое

... Это письмо я пишу вам из госпиталя в Джибути, куда меня отвезли из-за больной ноги, которую ужалила стоножка. К счастью, мне вовремя сделали впрыскивание, и опасность ампутации миновала. Боли, правда, дают еще себя чувствовать, но опухоль уменьшается с каждым днем, и я полон бодрости, пожалуй, даже счастья. Я — среди людей...



ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

В1931 г. житель города Риги, инженер Константин Иванович Климов, по причинам личного свойства, из которых главная была душевная усталость, вместе с женой покинул Европу и поселился на одном из крохотных и необитаемых островков Меланезийского архипелага в Австралии. Здесь в искации покоя в течение пятнадцати лет он жил, уподобившись Робинзону, простой трудовой жизнью, вытравив в себе злобные инстинкты, порождаемые сложностями культуры, и научился со спокойным упорством бесхитростно бороться за маленькие достижения. Кроме жены, за это время он не видел ни одного человека, и до него не дошла ни одна весть от оставленного им человечества.

Случайно найденный им золотой самородок вызвал в нем непреодолимое искушение снова съездить в Европу и посмотреть, к чему она пришла за пятнадцать лет своей напряженно-суетной жизни. На простой лодке он добрался до ближайшего населенного места Гата, обменял там самородок на деньги и затем на аэроплане полетел сначала в Сингапур, затем в Калькутту и Каир, а оттуда в Вену. Здесь он хотел было остановиться, но его неудержанно потянуло на родину, в Ригу. Отсюда он написал письмо в Гату, куда должна была за ним явиться жена.

С разрешения К. И. Климова я печатаю это письмо, удалив из него строки чисто личного свойства и слегка подправив его устаревший стиль.

Считаю также необходимым указать, что это письмо является по счету вторым, так как г. Климов уже из Вены поспешил поделиться с женой своими первыми впечатлениями.

Рига, 2 октября 1949 г.

Дорогая! Ты уже, вероятно, получила мое первое письмо и достаточно потрясена теми неожиданными новостями, которые я тебе наскоро сообщил, сидя в ресторане венского аэродрома. Но еще более удивят тебя мои сегодняшние сообщения; боюсь только, что, отвыкнув писать, плохо опишу то, что увидел, а к тому же я еще сам хорошо во всем виденном не разобрался.

Я прибыл в Ригу третьего дня вечером, а на другой день уже успел побывать в редакции газеты, куда меня почти насильно затащили ее настойчивые сотрудники, соблазнившиеся экстраординарным случаем проинтервьюировать «австрийского дикаря».

Газета эта — та же, которую мы некогда с тобой читали и по-прежнему она называется «Сегодня». Но она так же похожа на прежнее «Сегодня», как похожи штаны на закат солнца.

Да и в самом деле: можешь ли ты себе представить газету, обходящуюся без бумаги? У меня глаза на лоб полезли, когда я узнал, что шуршащего газетного листа уже больше не существует, а вместо него читатели ежедневно получают нечто вроде граммофонной пластинки. Но не торопись догадываться, потому что пластинка — это еще не есть газета, а всего только перечень важнейших известий, так как на пластинку нанесены всего лишь заголовки статей, корреспонденций и заметок, вкратце излагающих последние новости. Сегодня, например, на пластинке стояло:

«Австрийская королева разрешилась от бремени близнецами».

«Новый способ приготовления котлет из мяса морских чаек».

«Столкновение двух воздушных такси».

«Испанский король созывает кортесы».

«В Советской России приступили к археологическим раскопкам с целью отыскать прежние железнодорожные пути».

«Германское правительство получило согласие на приезд в Мюнхен 6000 галицийских евреев».

«Пулинь благополучно прилетел из Гризинькална в Засулаукс».

«Рецензия о вчерашней постановке пьесы “Пир Сарданапала”».

«Кто выиграл в лотерею».

«Новый рассказ В. И. Немировича-Данченко».

Кстати, этому увлекательному писателю недавно исполнилось 103 года. Он свеж и бодр и пишет, как молодой. Сейчас он готовит трилогию — «75 лет назад».

Но вернемся к пластинке. После того, как граммофон передал содержание очередного номера «Сегодня», читатель останавливается на той из статей, которая его наиболее интересует.

Между прочим, когда я спросил у редакционного старожила, каково преимущество пластинок перед бесхитростным газетным листом, мне довольно резонно ответили:

— Теперь уже невозможны газетные утки: все приходится показывать на экране!

Кроме того, газету могут слышать и видеть одновременно все члены семьи.

Но самой ошеломительной была для меня другая новизна. Я спросил:

— А что делают с пластинкой ваши заграничные подписчики? Неужели же ваша радиостанция в состоянии посыпать волны, например, в Австралию?

В ответ на это все члены редакции дико захохотали, а редактор, корчась от смеха, презрительно заявил:

— Заграничные подписчики? Таких уже давно не имеется! Разве вы не знаете, что уже несколько лет существует новый порядок, при котором каждое государство конфискует все газеты других государств? И, наконец, какая нам польза от заграничных подписчиков, раз мы не можем получать с них подписной платы. Ведь вывоз валюты запрещен во всех государствах под страхом смертной казни!

Вчера вечером был в театре. Снова чувствовал себя не в своей тарелке.

На театральных подмостках царит сплошная романтика, ничего общего не имеющая с действительностью: пастухи и пастушки, рыцари и принцессы, а диалог ведется в звучных стихах и притом строго рифмующихся. Бенгальское освещение ни на одну минуту не исчезает.

Оказывается, назначение театра точно установлено законом: давать отдых и не утруждать зрителя никакими проблемами и дилеммами! Заодно отмечу, что входные билеты не продаются: посещение театра — бесплатное — обязательно для всех и является последствием социального страхования.

А сегодня днем был в спортивном Стадионе. Тут я уж окончательно обалдел: спорт совершенно изменил свою прежнюю физиономию. За то время, что мы с тобой пребывали вне цивилизации, были, оказывается, побиты все спортивные рекорды, и у человека не осталось решительно никакой физической возможности для дальнейших достижений. Поэтому, не мудрствуя лукаво, — повернули обратно.

Теперь победителем считается тот, кто сделал наименьшее количество очков, а также приплыл или прибежал последним. То же самое на скачках: приз получает та лошадь, которая приходит к столбу позже всех. Но в данном случае дело обстоит просто: жокеи обмениваются лошадьми и, естественно, стараются, чтобы чужая лошадь оказалась впереди. А вот в плавании или в теннисе этого уже не сделаешь и получается невероятная канитель. Но публике именно это и нравится.

На ближайшей «Олимпиаде» будет, между прочим, разыгрываться приз на «рекорд черепашьего шага».

*

В то время, когда я пишу эти строки, в соседней комнате орет «Вечернее СегоднЯ». Оно, между прочим, сообщает:

«На будущей неделе ожидается выяснение убийства Пренса».

«Борису Алекину поручена роль короля Лира».

«В Советской России собираются окончательно упразднить ГПУ».

Ну что тебе еще сообщить? Так много курьезного, что положительно теряешься в нем. В Париже, например, не осталось ни одного русского эмигранта, умеющего говорить и читать по-русски, тем не менее, журнал «Современные записки» все еще продолжает выходить, а «Возрождение» неизменно переругивается с «Последними новостями», но уже на французском языке. Ввиду недостаточности продовольствия, в Европе стали употреблять в пищу мясо морских чаек, которые отныне именуются морскими курицами. А люди, занимающиеся разведением их, называются морскими куроводами. В Иерусалиме возникло «Общество распространения еврейского языка в Палестине», так как все жители упорно говорят только по-русски. Даже арабы. Известной своими красивыми ногами Мистангет на днях исполнилось 32 года. Паспорту же ее ровно 100 лет.

...Но уже поздно. Пора идти спать, тем более, что я сильно утомился новыми впечатлениями. Впрочем, совершу над собой некоторое усилие и расскажу тебе еще одно нововведение, пожалуй, наиболее потрясающее. Меня, по крайней мере, оно доконало.

Можно ли было думать в наше время, что через пятнадцать лет на земном шаре перестанут строить каменные и деревянные дома? А между тем, это случилось: сейчас повсюду дома стеклянные, а главное, совершенно прозрачные. Кроме того, что такие жилища дешевле, гигиеничнее, огнеупорнее, они еще являются политической необходимостью — государство всегда должно знать, что делает гражданин. Другими словами, последний во всякое время дня и ночи должен быть на виду у всех. Но, как ты сама понимаешь, еще сохранились вещи интимные, не подлежащие чужому наблюдению, и поэтому каждый ничем не запятнанный гражданин получает от государства особое «право на занавеску». А чтобы он не злоупотреблял занавеской, тем

более, что ввиду необычайной густоты населения все государства стали тщательно регулировать деторождение, — занавеска выдается ему только в определенные дни, специально для него установленные Государственной Сексуальной Палатой...

Это окончательно рассеяло мои иллюзии насчет обратного переселения в Европу, и через неделю я возвращаюсь к тебе, чтобы навсегда отказаться от цивилизованной жизни. Ну ее к черту, эту Сексуальную Палату! Как-нибудь обойдемся и без нее...

Твой Костя



МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ

I

Мы сидели в отгороженном уголке берлинского ресторана «Кудеяр» и из любви к далекой, отвергнувшей нас родине пили водку. Когда чувство патриотизма было удовлетворено в полной мере, начались рассказы о прошлом. Такова традиция.

Но все воспоминания, звучавшие в этот вечер, были бесцветны. Зевали сами рассказчики. Я больше не мог себя насиливать и поднялся из-за стола, чтобы уйти.

Тогда прислуживавший нам кельнер, — бывший гвардейский офицер, — подошел к нашему столику и, извинившись, сказал:

— Ресторан сейчас закрывается. Но, если бы вы пожелали остаться, мы запрем входную дверь, притушим огни и спустим шторы.

В этот разговор вмешалась хорошенъкая буфетчица, жена владельца «Кудеяра», и укоризненно сказала кельнеру:

— А обо мне вы забыли? Я ведь здесь с утра.

И, так как кельнер немного смущился, она прибавила:

— Я соглашусь на это с одним условием: вы расскажете какую-нибудь занятную историю.

А обратившись к вам, она сказала:

— Он удивительно рассказывает. И у него большой запас всевозможных историй.

Через минуту шторы были спущены, двери закрыты и огни притушены. Кельнер снял с себя белый китель и вместе с буфетчицей сидел за нашим столом.

— Ну, что же вам рассказать? — застенчиво спросил он.

— Что-нибудь веселое, шутливое.

Буфетчица покачала головой.

— Нет, пусть лучше расскажет что-нибудь страшное.

Кельнер улыбнулся и сказал:

— Я примирю оба пожелания: я расскажу об одной трагической шутке.

II

— Нас было пять человек, и мы совершали очаровательную прогулку на пароходе, который шел в Стокгольм, но предварительно должен был остановиться в Гельсингфорсе. Всех нас объединяло чувство свободы, сознание необходимости отдыха, а главное, жажда бодрящей перемены после однообразной сутолоки петербургской жизни. Понятно, это еще было до войны. Уже при входе в Морской канал мы сразу сбросили с себя холодную маску столичных жителей и быстро усвоили ту беспечную манеру наслаждаться путешествием, которая отличает туристов от деловых людей. Очень скоро к нашей оживленной компании присоединился пассажир, которого мы приняли за иностранца и даже заговорили с ним по-немецки. Выяснилось, однако, что он самый настоящий петербуржец, и по профессии врач. Когда-то он служил во флоте, хорошо знал всю Европу и оказался приятным и интересным собеседником. Словом, через час после знакомства он вошел в нашу компанию в качестве равноправного члена ее и стал принимать участие в нашей ни на минуту не умолкавшей беседе.

На другой день утром мы пришли в Гельсингфорс. Пароход стоял три часа, и доктор вместе с нами сошел на берег. По дороге он купил себе какую-то немецкую книгу и, когда вернулся на пароход, так, по-видимому, увлекся чтением, что даже не выходил из своей каюты.

Потом он появился, угрюмый, словно уставший. Было видно, что он расстроен. Неужели книга его расстроила? Доктор признался, что это действительно так. Случай, рассказанный в новелле, напомнил ему одну старую неприятную историю. Каждый раз, когда он ее вспоминает, ему становится не по себе.

— Я думаю, — заметил он, — это голос совести.

Затем он пошел к себе в каюту, принес книгу и, протягивая ее нам, сказал:

— Вы сначала прочтите, а потом я расскажу свою историю.

Мы все отправились в рубку, и один из нас прочел новеллу вслух.

III

Случай, который в ней приводился, оказался, действительно, занятным. Какой-то инженер, шесть лет работавший на одном из австралийских островов, возвращался в Европу. Проведя эти годы в тяжелой, некультурной обстановке и в одиночестве, он предвкушал предстоящие ему удовольствия цивилизованной жизни и стал мечтать о женщине, которую полюбит. В мечтах она рисовалась ему маленькой изящной блондинкой и, свыквшись с этим образом, он неизменно вызывал его в долгие дни своего путешествия.

Однажды, — это было после того, как пароход миновал Порт-Саид, — прогуливаясь по палубе, инженер встретил новую пассажирку, поразительно походившую на то видение, которое преследовало его в мечтах. Тогда он решил, что это перст судьбы и, познакомившись с нею, через несколько дней сделал ей предложение. Она приняла его. Но обвенчаться они решили у нее на родине, в Голландии, куда она и направлялась. Между тем, инженер должен был сначала заехать в Париж, где как раз в это время происходила всемирная выставка. Ему предстояло в течение нескольких дней заняться отделкой павильона, посвященного быту австралийской деревни. Они решили, что вместе заедут в Париж, а через неделю отправятся в Голландию.

Париж их встретил, переполненный иностранцами. Из-за выставки они с трудом нашли отель, в котором свободных комнат оказалось очень мало. Ввиду неопределенности их положения, им пришлось занять номера в разных эта-

жах и записались они в книге приезжающих не рядом. А так как она устала от дороги и ей нездоровилось, инженер отправился на выставку один. Там он проработал до поздней ночи и, когда вернулся, отель уже засыпал. Спустившись в номер своей невесты, он заметил, что ее комната совершенно пуста и что в ней нет никаких следов жилого помещения. Обои на стенах были содраны, пахло kleem и вообще было видно, что там происходил ремонт. Тогда он решил, что ошибся номером, и, так как уже было поздно, поднялся к себе и лег спать.

Утром он снова отправился к своей невесте, но его ждало удивление не меньшее. Вчерашний пустой номер оказался вполне меблированным, но мебель опять-таки была не та, которую он накануне видел в комнате своей невесты. Что же касается последней, то заведующий отелем, спрашивавший о ее имени, категорически заявил инженеру, что дама с такой фамилией в отеле не останавливалась. И портье, и мальчик, поднимавший обоих на лифте, и горничная — в один голос утверждали, что месье приехал в отель без дамы. А когда он потребовал, чтобы ему показали книгу, где они оба вчера расписались, инженер, к своему ужасу, имени невесты там не нашел.

Изумленные взгляды прислуги отеля несколько поколебали его уверенность, но он все же овладел собой настолько, чтобы отправиться в полицию, а затем в нидерландское посольство. Ему, однако, ничего не удалось узнать. Его невеста исчезла, несмотря на самые тщательные, по уверению полиции, поиски ее.

Инженер чувствовал, что он близок к помешательству, а категоричность заявлений полиции и служащих отеля начала вызывать в нем самое предположения, что он фантазирует. Может быть, действительно, эта маленькая блондинка вовсе и не существовала и была только «видением», как он сам определил ее, находясь близ Порт-Саида? Неуверенность его все возрастала и в то же время не было никаких данных, чтобы проверить, действительно ли в Париж он приехал не один. С этими раздвоенными мыслями инженер покинул Францию и снова вернулся к примитивной

жизни в Австралии, проклиная сложный цивилизованный мир.

Между тем, в секретные бумаги парижской полиции было занесено сообщение о том, что приехавшая из Азии молодая женщина заболела легочной чумой и через несколько часов скончалась в отеле. Во избежание паники и счи-таясь с тем, что только что была открыта всемирная выст-авка, смерть дамы пришлось держать в строжайшем сек-рете, а занимаемый ею номер в ту же ночь был дезинфици-рован и заново оклеен обоями.

IV

— В этой новелле, — сказал доктор, когда чтение было закончено, — не хватает самого интересного для меня: ав-тор почти не остановился на психическом состоянии ин-женера. Читатель так и не знает, как впоследствии объяс-нил себе инженер исчезновение невесты и поверил ли он в то, что эта встреча была им выдумана. Я лично склонен ду-мать, что самого трезвого человека можно убедить в том, что он живет грезами. Мозг человеческий слаб. По крайней мере, я основываюсь на случае, в котором сам принимал участие.

И доктор, сразу преображеный серьезностью своих слов, начал рассказывать:

— Я тогда еще служил во флоте. Русская эскадра нахо-дилась в английских водах, и в Дувре я случайно познако-мился с несколькими молодыми англичанами, которые без-заботно предавались спорту и совершили прогулку на собст-венной яхте. Нас сблизило то же, что сблизило и вас с ва-шим покорным слугой, — свобода, благодушие и жизнерад-остность. Мы быстро сошлись и, надо сказать, в поисках развлечений наша веселая компания оказалась неутоми-мой в изобретательности. Мы совершили великолепную поездку вокруг всей Англии, а затем поехали в имение од-ного из наших приятелей в Шотландии. Компания состоя-

ла из больших весельчаков и проказников. Этот род людей, умеющих своими проделками никому не причинять вреда, встречается только в Англии. У нас или даже в Германии и Франции, проказники быстро выходят за пределы дозволенного и дело обычно кончается полицией. Тут же все было корректно и в то же время царило самое непринужденное веселье. А что касается проделок, то их объектом нередко были сами же участники нашей компании.

Однажды нам пришло в голову пошутить над одним из наших коллег, который отличался некоторой склонностью ко всему таинственному. Его звали Кэстон. Устроив как-то состязание в теннис, где Кэстон оказался впереди всех, мы перед самым концом состязания стали в шутку уверять его, что он ошибся в подсчете очков, будто бы сделанных им накануне. Когда же он начал доказывать, что сделал вчера столько-то геймов, мы, заранее условившись, изобразили на своих лицах полное недоумение и решительно отрицали все факты, которые он приводил в доказательство. Он подробно описывал, с чего началась игра предыдущего дня, что мы делали во время перерыва, вспомнил, как один из нас споткнулся и упал, — мы все это отрицали. «Значит, вчерашнего дня не было?» — спросил он. — «Того, что вы рассказываете, не было. Все это вам приснилось», — отвечали мы ему. Наше упорство сбило его с толку, и ему пришлось уступить. И так как эта проделка удалась, мы решили время от времени повторять ее.

Дней через пять после этого у Кэстона вдруг пропадает кольцо. Это была какая-то фамильная драгоценность, переходившая из рода в род к самому младшему из детей. Словом, Кэстон очень дорожил этим перстнем. Мы опять стали упорно уверять его, что никакого кольца у него на руке никто из нас не видел. Он спорил, горячился, но мы настаивали на своем и выразили предположение, что он забыл его в Лондоне. Кэстон снова стал напоминать случаи, когда он рассказывал нам связанные с этим кольцом легенды, — мы отрицали и это. Он смущался, стал задумчив, но, признаться, мы этого тогда не заметили.

Проходит еще несколько дней. Мы всей компанией отправляемся в ближайший порт, где должны были происходить состязания яхтсменов. Случайно в поезде Кэстон встречает своего старшего брата, известного политического деятеля, и знакомит его с нами. Брат, жалуясь на свое нездоровье, при нас упрекает его за слишком продолжительный отпуск и настаивает на том, чтобы Кэстон вернулся в Лондон. Мы начинаем его упрашивать, чтобы он разрешил Кэстону побывать с нами еще некоторое время и он разрешает. Но, когда мы возвратились обратно с состязания, Кэстон вдруг заявляет, что ему неловко перед братом и что он покидает нас. Тогда мы снова повторяем свой опыт: «О каком брате вы говорите?» Кэстон изумленно оглядывает нас и начинает рассказывать про встречу в поезде. Мы пожимаем плечами, делаем вид, что слышим об этом впервые и окончательно приводим Кэстона в бешенство. Я лично начинаю утверждать, что даже и не знал о том, что у него есть брат. Кэстона охватывает нервная дрожь и в азарте он заявляет, что завтра же напишет брату и это, конечно, разрешит ваш нелепый спор.

Мы видели, что дело зашло несколько далеко, переменили тему разговора, рассчитывая, что завтра мы ему честно раскроем нашу проделку. Утром нас, однако, ждал сюрприз: ночью Кэстон неожиданно уехал. Оставленная записка извещала нас, что он получил телеграмму о смерти брата и должен немедленно вернуться в Лондон. Тем дело и кончилось. Через несколько дней уехал и я и, признаться, очень скоро забыл о нашей проделке. Как вдруг месяца через два я получаю из Лондона письмо, повергающее меня в ужас: Кэстон сошел с ума. А автор письма, с искренним отчаянием порядочного человека, пишет мне, что помешательство Кэстона вызвано не чем иным, как нашей проделкой. Я немедленно пишу в Англию и прошу подробных сведений. В ответ я получаю длиннейшее письмо и, действительно, убеждаюсь, что случай с Кэстоном вышел за пределы человеческого понимания.

V

— Подробности болезни Кэстона, — продолжал наш спутник, — мы узнали от лечившего его врача. Из отдельных фраз, мыслей и замечаний больного ему удалось выяснить ту идею, для которой оказался тесным мозг нашего бедного друга. Единственное, что осталось для врача неясным, — это причина, вызвавшая болезнь, потому что никто из моих друзей не нашел в себе мужества рассказать врачу о той шутке, которую мы проделали. А между тем, вся суть была в том, что Кэстон искренне всему поверил. Вы удивляетесь?

Да, он поверил тому, что мы не видели, как он играл в теннис; поверил тому, что мы не замечали его кольца; поверил также и тому, что мы не заметили его встречи с братом. В то же время, сам он был глубоко убежден, что все это происходило. Отсюда — всего только один шаг к тому, чтобы предположить о существовании мгновений, которые недоступны обыкновенному евклидовскому уму. Кроме видимых и осознательных, переживаемых в течение суток 24-х часов, — решил он, — есть еще времена, не поддающиеся измерению ни нашим ограниченным умом, ни приборами, нашим же умом придуманными. Эта идея очень скоро окрепла у него до того, что все являвшиеся ему сновидения он стал принимать за правду: «Это не сны, — говорил он себе, — это воспоминания о том, что происходило со мной в часы, не отмеченные на циферблате». И он стал жить в мире тех бесплотных образов и видений, которые приносит с собой ночь и разгоряченная фантазия. Для него перестали существовать ошибки памяти, предположения, догадки. Все, что только приходило ему на ум, становилось для него реальным фактом, который отличался от обычного осозаемого факта лишь тем, что происходил в иные часы. Так перепутались у него всякие представления о правде и вымысле. Более того: вымысел просто перестал для него существовать и стал непререкаемой правдой...

Не знаю, к каким выводам придетете вы, но я сделал вы-

вод, что мозг человеческий слаб и становится подвластным тем ничтожным событиям, которые упорны в своем проявлении и которым мы часто не придаем значения. В сущности, мы ничего не знаем.



СОН ЗОЛОТОЙ

I

Kогда письмо было расшифровано, Прэг вызвал своего помощника Свэна и вполголоса прочел ему:

«В срочном порядке снимите помещение для конторы не ниже 5-го этажа. Желательно даже в 6-м. Сам дом должен быть угловым, помещение конторы должно выходить на две улицы. Необходимо также, чтобы на крыше в любой момент можно было установить радиостанцию. Осторожно, не возбуждая толков, запаситесь провиантом(консервы, сахар, сельтерская вода), вместительной посудой для питьевой воды и свечами. То, другое и третье должно хватить на 4 дня. Контору зарегистрируйте, как бюро по покупке фильмовых сценариев и манускриптов. Поместите об этом несколько объявлений в газетах и для начала действительно приобретите два-три сценария, а затем от покупки воздерживайтесь под предлогом того, что ожидаете ответа от своего начальства относительно уже посланных вами манускриптов. Страйтесь развернуть обширную, но ни к чему не обязывающую переписку. Сами себе посыпайте телеграммы и заказные письма. Когда контора будет устроена, пришлите подробный доклад, после чего получите дальнейшие инструкции».

Свэн мрачно выслушал приказ и недовольным тоном заметил:

— Не люблю потемок. Зачем эта таинственность? Либо нам можно доверять, либо нельзя. А если можно, то для чего эта препошлайшая авантюристическая манера выражаться загадками?

Прэг ответил:

— Вы же знаете наших. Они никому не доверяют.

Свэн сердито отмахнулся рукой.

— Мне обещали, — обронил он неприязненно, — лабораторную работу. Пока что речь идет о каких-то консервах, сельтерской воде и сахаре. К химии это не имеет ни малейшего отношения.

— Не нужно нервничать. Подождем дальнейших инструкций, — сказал Прэг. — И займемся поисками помещения.

Оба замолчали, недовольные друг другом.

Свэн пожал плечами и, выколачивая трубку, говорил:

— Я человек глубоко штатский и совершенно неопытен в этих военных ребусах. Поэтому не могу догадаться, в чем дело. Но вы в таких вещах, должно быть, собаку съели. Как вы думаете, — что это все должно означать?

Прэг бросил небрежный взгляд на письменный стол, затем аккуратно переложил карандаши и линейки и, как бы нехотя, сказал:

— Я думаю, что в скором времени начнутся военные действия.

— Война? — с брезгливостью подхватил Свэн и даже пристал от изумления.

— Что вас так удивляет? — не без укора возразил Прэг.

— Вы, изобретатель переатола, удивляетесь тому, что его хотят испытать на деле?

Свэн смущенно замигал глазами. По его горлу пробежала судорога, точно он проглотил несколько невысказанных слов.

— Да, да, конечно... — пробормотал он. — Но, как человек невоенный, я не так-то легко примиряюсь с тем, что приближается война.

— Нужно быть последовательным, — отчеканил Прэг и подумал: «От этой ученой размазни надо будет отделаться при первом удобном случае. Иначе у него, чего доброго, заговорят его штатские нервы».

Решительно поднявшись со стула, Прэг осторожности ради добавил:

— А может быть, я ошибаюсь. Пожалуй, что это только репетиция.

— Нет-нет! — взволнованно заговорил Свэн. — Теперь я сам вижу, что это так. Обратите внимание: «не ниже 5-го этажа». Удивительно, как военное дело ловко умеет использовать всякое открытие, всякое изобретение. Единственное, чего я не могу понять — это, почему надо запастись провиантом на 4 дня. Разве нам придется выдерживать осаду?

Прэг не высказал своих соображений по этому поводу, хотя мог бы. Он посмотрел на часы, попрощался со Свэном и отправился на табачную фабрику.

II

Грек Пополаки, заведующий табачной фабрикой, молча показал Прэгу только что полученную телеграмму. В ней было сказано:

«На днях получите большую партию табаку. Примите все меры к тому, чтобы через 20 дней было готово 6 миллионов рекламных папирос среднего размера и 200 тысяч сигар. Подробности следуют почтой».

Пополаки лукаво прищурил один глаз и, поскоблив плохо выбритую шею, тихо сказал:

— А где я буду хранить эту уйму? И, наконец, почему ничего не сказано насчет упаковки?

Прэг одобрительно кивнул головой и заявил:

— Да, это упущение. На мою ответственность: упаковывайте в коробки по 500 штук. Если не хватит места, я у вас половину заберу. Приступайте к работе сегодня же. Дня через три я к вам заеду со своим помощником.

— Вы мне так и не хотите дать номер своего телефона? — спросил Пополаки.

— Не имею права, — сказал Прэг. — Таков приказ генерального штаба. Да у меня и нет собственного телефона.

После этого краткого разговора Прэг отправился в гараж.

— Что нового? — спросил он у заведующего гаражом.

— Ремонт вчера закончен. Все в полной исправности, — сказал заведующий; в его осанке и в манере рубить слова чувствовался военный. — И как раз сегодня получен приказ. Прикажете показать?

— Покажите, — сказал Прэг. — Расшифровали?

— Так точно.

— Прочтите, — попросил Прэг.

Заведующий отчетливо прочел:

«Через 20 дней в гараже должно быть зо автомобилей. Желательно, чтобы не все были новые. 28 шофёров прибудут за два дня до нужного срока. Проверьте их знакомство с улицами. Днем позже прибудут 28 седоков. Устройте пробную ночную поездку. Седоки должны иметь при себе хронометры. Доклад о пробной ночной поездке сделать Прэгу. Он же должен дать остальные указания».

— Как вы полагаете: это маневры или настояще нападение? — вкрадчиво спросил заведующий гаражом.

— Ничего не знаю, — озабоченно сказал Прэг. — По-видимому, в штабе установилось решение до самого последнего момента никого ни во что не посвящать. Смею вас уверить, что я знаю столько же, сколько и вы.

Но это была неправда. Инженер-полковник Прэг был автором хитроумного плана овладения вражеской столицей и сам разработал все детали его. Генеральный Штаб решил, что лучше Прага никто не осуществит этого плана и представил ему полную свободу действий.

Прэг был честолюбив, но не тщеславен. Поэтому — до поры, до времени, — его нисколько не тяготила маска очень скромного исполнителя чужих поручений. А это ему нужно было для того, чтобы не наживать себе врагов и чтобы на все вопросы подчиненных отделяться своей неосведомленностью. И он настолько последовательно проводил это правило, так держался в тени, что никогда от своего имени не отдавал никаких распоряжений. Он предпочитал распоряжаться негласно. Так, например, даже те приказы, которые он читал у Свэна, у Пополаки и у заведующего гара-

жом — были написаны им самим.

III

Год назад химик Свэн придумал газ, названный им переатолом. Это название не совсем соответствовало его свойствам: переатол не все губил, он только уничтожал людей и всякую другую живущую тварь. В самом разжиженном состоянии пары этого газа мгновенно приостанавливали деятельность сердца.

Изготовление переатола, особенно в последней его стадии, не требовало никаких сложных приборов. Достаточно было любой кухни. В горячую воду опускали зелено-бурый порошок, похожий на сухой табак. Воду нагревали до кипения. Пар, выходивший из сосуда, и был переатол.

Кроме смертоносности, у этого газа было еще одно свойство, которому простодушный Свэн не только не придавал никакого значения, но, напротив, считал его отрицательным. Газ, в случае безветренной или недождливой погоды, держался над землей в течение 50 часов и не поднимался выше 22-х метров, что соответствовало примерно четырем этажам. Инженер-полковник Прэг как раз за эти свойства переатола и ухватился и именно на них построил свой план.

Темно-бурый порошок прибывал тюками во вражескую столицу под видом табака. Пополаки изготавлял газ, затем под сильным давлением превращал его в жидкость, которой наполнял маленькие стеклянные трубочки, имевшие вид папирос или сигар. Это и были те снаряды, которые имели своим назначением опустошить столицу.

В тот день, когда Прэг получил условную телеграмму от генерального Штаба, произошло следующее. (Прэг до мелочей обдумал свой план.)

В девять часов вечера незаметно выехало все посольство. В 11.30 ночи 28 автомобилей выскоцили из гаража и, как жуки по воде, разбежались в разные стороны. В каждом автомобиле сидел переодетый саперный офицер и че-

рез отверстие в задней части кузова ритмически выбрасывал на улицу стеклянные папиросы — по две штуки на метр пути. Трубочка разбивалась и жидкость превращалась в газ, быстро распространявшимся в коридорах улиц. Но автомобиль двигался быстрее газа...

В то же самое время такие же саперные офицеры с пакетами таких же папирос находились на всех отбывающих из столицы поездах. Стоя на площадках последних вагонов, они сбрасывали на полотно смертоносные сигары. Надо ли объяснять, что таким способом саперные офицеры «отравляли» железнодорожную линию и отрезали столицу от всего государства?

Ровно в 12 ночи произошел взрыв табачной фабрики, переполненной переатолом, устремившимся к зданию главного почтамта и центральной телефонной станции. Это сделал Пополаки при посредстве адской машины с часовым механизмом. Сам он уже был далеко...

Пятнадцать минут спустя от такой же машины взорвался гараж, под сводами которого лежали пакеты папирос. Волны переатола хлынули прямо на находившееся поблизости здание полицейского управления.

А через три часа над столицей появилась эскадра воздушного флота.

Некоторые части города уже были погружены во тьму августовской ночи: на электрических станциях, на водокачке и на заводах, лишенных присмотра, взорвались котлы. На улицах погасли фонари. Но зато начались пожары. Они и стали маяками для аэропланов, нагруженных все тем же переатолом. И, покружившись над обезумевшей столицей, воздушная эскадра завершила работу Пополаки.

А куда девался инженер-полковник Прэг?

IV

Наука оказалась на высоте. Через четверть часа после

того, как о мостовую разбивалась стеклянная гильза, желтоватый газ поднимался до середины окон в четвертых этажах. Ночь была душная. Почти все окна в каменных громадах были открыты настежь. Газ быстро забирался в спальни и одним дуновением своим умерщвлял находившихся в кроватях. А внизу — на улицах, на тротуарах, на террасах кафе и ресторанов, в вагонах подземной дороги — уже громоздились жуткие груды трупов с изумленными лицами, с застывшими в воздухе руками, которые в последние мгновения, по-видимому, пытались за что-то ухватиться. У согнутых фонарей и трамвайных столбов вздыбились автомобили, точно обезумевшие от внезапно дарованной им свободы. В других местах они безрассудно застряли в витринах магазинов, засыпанные дамскими чулками, шляпами, галстуками или шоколадными конфетами.

Это было спящее царство, с зловещей тишиной, нарушающей звуками каких-то взрывов и далеких громыханий. Но иногда слышались и людские голоса. В протяжном плаче заливался ребенок. Визгливо звучал испуганный собачий лай. Но только доносилось все это сверху, с пятых и шестых этажей, с высоких крыш, где в последнем животном страхе жались друг к другу счастливо уцелевшие от смертоносных дуновений, но еще не верившие своему счастью.

А где же был Прэг? Прэг сидел в своем бюро по покупке фильмовых сценариев и пил кофе. Время от времени он выходил на балкон, чтобы разглядеть во мраке, что творится на улицах. В соседней комнате химик Свэн в противогазовой маске каждые десять минут поднимал снизу на веревке измерительные приборы, при помощи которых исследовал плотность газовых облаков — и восторгался безошибочностью составленных им формул. Все было в порядке! Уменьшающаяся плотность переатола в верхних слоях точно совпадала с его предварительными расчетами! Нет, нет, наука не обманывает!

А Прэг пил кофе, чашку за чашкой. Нельзя сказать, чтобы он был спокоен. Он достаточно волновался. При посредстве установленной им радиостанции он перехватывал телеграммы, взвывавшие к внезапно онемевшей столице.

Корпусные генералы, начальники полиции из провинциальных городов, командиры военных судов истерически вызывали своих шефов. Какой-то министр, проводивший свой отпуск в горах, возмущался, что не получает обещанного ответа. Но Прэга интересовало другое.

Ближайший морской порт находился на расстоянии 160-ти километров. Там должна была произойти та же мрачная история, с той только разницей, что в 12.30 ночи предусмотрено было прибытие двух пароходов со смешанным батальоном саперов и артиллеристов. Батальону — в противогазовых масках, — предстояло высадиться, пройти через город и овладеть железнодорожным путем, чтобы немедленно двинуться в столицу.

Этот батальон нужен был Прэгу до зарезу, ибо он отлично понимал, что завтра утром в столицу безусловно прилетят из провинции рекогносцировочные аэропланы.

В третьем часу ночи он получил, наконец, сообщение: батальон благополучно высадился и уже находится в пути.

Тогда Прэг надел противогазовую маску, приказал то же самое сделать Свэну и своему шоферу и спустился вниз, чтобы полюбоваться своей работой.

Уже наступал рассвет. Сквозь окно автомобиля четко виднелись повсюду разбросанные трупы. Шофер медленно и боязливо объезжал их, оглядываясь по сторонам, точно ждал откуда-то возмущенного окрика. Прэг напряженno всматривался в окна домов, оглядывал крыши и удовлетворенно хлопал пальцами по колену. Но зато Свэн, прильнув к стеклу, дрожал, как в лихорадке. Вдруг он повернулся к Прэгу, схватил висевший на шнурке карандаш и нетвердым, детским почерком написал на картоне:

«Я умоляю вас, отвезите меня назад. Я не могу этого видеть».

Через стеклянные наглазники Прэг послал ему прищуренную гадливость и резко провел в воздухе рукой, словно отмахиваясь от беспросветной глупости.

Свэн снова набросал:

«Ведь я вам не нужен. Прикажите шоферу повернуть».

Прэг на секунду задумался над его словами и внезапно, сильным движением, сдернул с него маску. Свэн изумленно раскрыл глаза, в ужасе прижал свою ладонь к носу, но тотчас же вздрогнул всем телом. Он уже был мертв. Придуманный им переатол действовал поразительно, с быстротой электрической искры...

Прэг деловито отодвинулся от трупа и продолжал внимательно осматривать местность, через которую неторопливо пробегала машина.

Поблизости был Городской Парк. Прэг подумал: «А про ник ли и туда переатол? Что, если он туда не добрался, ведь там могло скопиться немало народа, парк очень велик?»

В слуховую трубку крикнул он шоферу:

— Через Парк!

Но нет: все было в порядке. Аллеи были густо обсыпаны мертвыми бабочками, дроздами, трясогузками, гусеницами. На скамейках, застывшие в последнем объятии, неподвижно замерли парочки. Под одной сосной лежали три белки — две большие и одна крохотная, мордочкой уткнувшаяся в грудь матери.

По каналу медленно плыл лебедь. Его шея непривычно для человеческого глаза свернулась в неправильную восьмерку. Прэг выскочил из машины и бросил в лебедя камнем, но лебедь не пошевелился.

Прэг с минуту смотрел, как он плывет, испытывая самую настоящую жалость.

V

В 7.30 утра прибыл батальон саперов и артиллеристов. Прэг немедленно распорядился установить в шести местах зенитные орудия и оказался прав: в десятом часу над городом появились два аэроплана. Они были тотчас же сбиты. Часом позже прилетел пассажирский аэроплан. Прэг спокойно дал ему спуститься на аэродроме, зная, что ни один пассажир не выйдет из кабины.

Когда маленькая армия Прэга проходила по пустынным улицам, ее радостно приветствовали те, которые всю ночь провели на крышах. Солдаты были в противогазовых масках, и никому не могло прийти в голову, что это войска неприятеля. Еще меньше могла у кого-нибудь явиться мысль, что солдаты направляются в военное министерство для конфискации мобилизационных планов. Огромную кипу этих планов Прэг немедленно отправил в свой Генеральный Штаб на двух аэропланах.

Два часа спустя саперы проникли в государственный банк. Там они забрали золотой фонд и погрузили его в тот самый поезд, на котором приехали.

Но водопровод уже давно не действовал. Воздух был заполнен переатолом. От жары стали разлагаться трупы. Прэг вывел большую часть батальона за город, к озеру, куда газ не добрался, чтобы дать солдатам отдохнуть и накормить их. Встречные прохожие расстреливались на месте.

Сам же он вернулся в свое бюро и послал очень неясное радио в провинцию, приглашая все население страны не придавать значения тревожным слухам и спокойно полагаться на свое правительство. При этом он сообщал, что в столице произошло сотрясение почвы и в некоторых местах из расщелин выходит ядовитый газ. Сообщение было подписано премьер-министром и министрами внутренних дел, военным и морским. Кто мог знать, что их уже нет в живых?

А когда прошло 55 часов с момента действия переатола, никто, кроме Прэга, не знал, что смертоносный газ уже улетучился. Уцелевшие на крышах и в пятых и шестых этажах все еще не отваживались спуститься на улицу. Впрочем, изнемогшие от жажды и голода, они ничем не могли угрожать Прэгу. Гораздо опаснее для него были жители окрестных деревень, но и те не решались приблизиться к городу.

На третий день ранним утром Прэг выехал в порт навстречу своим войскам. 15-тысячный десант высадился по всем правилам военной техники, под охраной боевой эскадры.

А еще несколько часов спустя, когда первые полки вошли в столицу, Прэг, — по радио произведенный в генералы и назначенный командующим армией, — Прэг только теперь известил страну об открытии военных действий и продиктовал условия капитуляции. В случае несогласия, угрожал взорвать всю столицу. Само собой разумеется, он подробно описал также, в каком состоянии столица сейчас находится.

Страна содрогнулась в растерянном отчаянии и замерла.

В ожидании ответа солдаты Прэга вместе с уцелевшими жителями занялись уборкой трупов.

Первым был торжественно погребен химик Свэн.



АМЕРИКАНЕЦ

I

Я сидел в кинематографе и следил за напряженной трагедией, совершившейся на экране. Автор сценария был, по-видимому, мрачный жестокий человек. По крайней мере, он ни разу не улыбнулся — ни разу, хотя бы для того, чтобы дать зрителю немного передохнуть и слегка пошевелить застывшими мускулами лица. А между тем — не правда ли, странно! — сидевшая позади меня дама, на вид не сумасшедшая и не пьяная, в самых трагических местах задыхалась от смеха. Соседи шикали и презрительно оглядывали ее. По обеим сторонам зрительного зала, у притущенных фонарей, то и дело колыхались силуэты капельдинеров, пытавшихся обнаружить нарушителя порядка. Я тоже укоризненно обернулся и проворчал что-то неясное для меня самого. Но все это нисколько не помогало. Дама затихала на несколько минут, а затем снова разражалась смехом, грубым, прыскающим, от которого остается впечатление, будто на вас брызнули из пожарной кишкы. Что за дикая особа!

Под конец, чтобы рассеять мрачность представления, был поставлен фарс с участием Чаплина. Я с тревогой посмотрел на смешливую даму, полагая, что на этот раз дело не обойдется без истерики. Однако, ко всеобщему изумлению, «дикая» дама смеялась умеренно. Пожалуй, дажедержанно смеялась.

Этот случай произошел приблизительно два года назад, и вряд ли я вспомнил бы о нем, если бы через некоторое время снова не встретил в кинематографе ту же смешливую незнакомку. Шла пьеса Ведекинда, насыщенная демонизмом и завинченная до отказа. Дама опять вела себя самым странным образом: дико хотела в серьезных местах, пытаясь заглушить свой смех большой меховой муф-

той. Я недоуменно пожал плечами и подумал о ней в выражениях достаточно не мягких: идиотка, дура! Вероятно, то же самое подумали о ней и другие.

В антракте я внимательно посмотрел на незнакомку и указал на нее своему соседу, американскому журналисту. Профессиональное любопытство мгновенно насторожило его.

— Что же это, по-вашему, означает? — спросил он.

Я ответил:

— Вероятно, психопатка.

Мой американский коллега скептически покачал головой и, сводя глаз с дамы, сказал:

— У нее вполне спокойное лицо и вдумчивые глаза. Может быть, несколько напряженные, но это, вероятно, от светового контраста. Не, вы не правы.

Откровенно говоря, это глубокомыслие американца меня немного задело.

— Я никак не могу представить себе нормального человека, который бы смеялся, как сумасшедший, глядя на трагедию, — сказал я. — Укажите хотя бы одну причину.

Американец пожал плечами и ответил:

— Этого я не могу вам сказать. Но если судить по ее внешности, то пусть меня утопят в бочке с керосином, а я все-таки скажу, что она не психопатка.

При демонстрировании дальнейших картин незнакомка больше не смеялась. Американец искоса посматривал на нее в темноте, щурил глаза, кусал губы и, когда сеанс окончился, сказал:

— Давайте разузнаем, в чем дело. Я чувствую необычное в этой женщине.

Я отказался. Вот тоже! Мало у меня хлопот своих собственных, чтобы я еще занимался расследованием чужих «загадочных» историй. Американец торопливо застегнул перчатки, насмешливо посмотрел на меня и не менее насмешливо сказал:

— Да, ваш национальный поэт, очевидно, прав: вы ленивы и нелюбопытны.

Затем он оставил меня и, кособок пробираясь между креслами, последовал за незнакомкой.

II

Через два дня американец пришел ко мне домой, развалился в кресле и, рассказав десяток свежих политических новостей, по-моему, им тут же придуманных, в заключение добавил:

— А насчет смешливой незнакомки я кое-что узнал.

Без особого интереса к его загадочной улыбке, я небрежно спросил:

— Ну, кто же она такая? Актриса? Уголовная преступница? Сбежавшая из сумасшедшего дома?

— Она глухонемая, — серьезно ответил журналист. — И, понимаете ли, это еще больше меня заинтересовало. Какая досада, что вы не хотите помочь мне.

— А что же я могу сделать?

— Я ведь не знаю немецкого языка, а вы все-таки...

— Вы что же, предполагаете, что глухонемые говорят по-немецки? — сердито возразил я, вовсе не думая острить.

— А как вы узнали, что она глухонемая?

— Очень просто, — ответил американец. — Я принял растерянный вид и спросил, как попасть на такую-то улицу.

— Ну и что же?

— Она покачала головой.

Я искренне расхохотался:

— Так вы серьезно полагаете, что если дама не желает ночью на улице вступать в разговор с незнакомым мужчиной, значит, она глухонемая?

— Да нет же! — не без раздражения отозвался мой гость, нервно описывая сигарой затейливый орнамент. — Ну и характер же у вас! Вы не дослушали до конца. Я продолжал расспрашивать, показывал рукой, допытывался, где ближайший вокзал. Она — это было заметно — сильно смущалась и, по-видимому, желая мне что-то ответить, напрягла гортань и извлекла, наконец, совершенно нечленораздельное рычание. Было ясно, что она немая.

Я пожал плечами.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Допустим, что это так. А

далъше что?

— Далъше? Далъше — я сам не знаю. Я и говорю: меня это еще больше заинтересовало. Надо расследовать. Я теперь знаю, где она живет и попытаюсь расспросить о ней портье. Вот тут-то вы бы мне могли помочь.

Я не мог скрыть, что эта пинкертоновщина мне изрядно надоела, и сказал:

— Вы на меня не обижайтесь, но у вас, по-видимому, слишком много свободного времени.

— Я журналист, — гордо сказал американец.

Он докурил сигару и ушел. По его сжатым губам и холодному рукопожатию я почувствовал в нем досаду, вызванную тем, что его не понимают...

III

О моем приятеле-американце я могу сказать только хорошее. Но как газетчик, всегда и повсюду разыскивающий темы для статей и корреспонденций, он напоминал мне вертлявшую, только что спущенную с цепи собачонку, которая обнюхивает все уголки и пятна, попадающиеся ей по пути. Более суэтного человека я не встречал и, признаться, относился к нему с некоторой долей презрения. Впрочем, всякая загадочная история, интрига, авантюра были для него выгодным коммерческим делом, и таким образом суэтность его окупалась достаточно хорошо. Он очень скоро уехал и, если я вспоминал о нем, то только оттого, что время от времени он присыпал мне наспех написанное письмо с оглушительным количеством вопросов, которые чередовались с пустозвонными сентенциями о том, как надо жить, и дикими проектами спасть человечество от застоя. Я обычно прочитывал его послание после обеда, бросал в корзину, но, чтобы избавить Европу от американских упреков в невежливости, все же отвечал ему — на каждое пятое письмо. В своих ответах я очень ловко уклонялся от всех поставленных им вопросов и изысканным стилем извещал его о

том, что у меня нет решительно никаких новостей. Не сомневаюсь, что мои корреспонденции приводили его в бешенство, тем более, что я позволял тебе потешаться над ним. Однажды, например, я сообщал, что глухонемая кланялась ему на очень хорошем немецком языке.

Через два месяца в ответ на этот выдуманный поклон я получил от него следующее письмо, написанное с яростными нажимами и без знаков препинаний, что свидетельствовало о некоторой взволнованности:

«Дорогой друг! — писал он. — Вам очень хотелось съехидничать, чтобы как можно больнее задеть меня, но ваша ракета пролетела мимо меня и к тому же не разорвалась. Глухонемая действительно глухонемая, и — вы сами понимаете — мне доставляет большое удовольствие иметь право показать вам язык. Я это и делаю, потому что поиски мои привели к успешной разгадке странного поведения дамы в кинематографе. Вы повержены в прах, и я, как истый спортсмен, торжествую и притом так сильно, что мне хочется взлететь на самый высокий нью-йоркский небоскреб и закричать “кукареку”. Дело вот в чем.

Два года назад произошло очень загадочное убийство молодой фильмовой актрисы Сибиллы Грэй. В день убийства она сыграла заключительную сцену в веселой комедии; в шесть часов вернулась домой, в семь ужинала, в восемь была найдена задушенной. Убийство долгое время оставалось нераскрытым, но затем, когда фильм был поставлен, убийцу нашли. И знаете, кто обнаружил его? Нет, вы не способны догадаться даже и теперь, после того, как я невольно подготовил вас к догадке. Убийцу обнаружил я с помощью... глухонемой. Да-с, милостивый государь: глухонемой! Может быть, вы теперь сообразите, в чем дело и вспомните, что у глухонемых сильно развита способность читать по губам. Поэтому они нередко слышат фильмовую игру и, таким образом, Великий Немой для них очень часто не немой. Специально приглашенная мной глухонемая «услышала», как маленький актер в той же веселой пьесе, игравший роль лакея, проходя мимо Сибиллы Грэй, сказал ей: «Ты продажная дрянь, тебя бы следовало убить». Припер-

тый к стене актер сознался, что у него с ней были старые счеты, подтвердил свое преступление и, вероятно, не избежит электрического стула в Синг-Синге. Я же, кроме того, что напечатал об этом три преогромных статьи (3.000 долларов), которыми зачитывались Северная и Южная Америка, получил еще от полиции 10 тысяч за раскрытие преступления. Само собой разумеется, что, наслаждаясь успехом и получив деньги, я первым делом подумал о вас, мой дорогой друг, и спешу поблагодарить вас от души за то, что год назад обратили мое внимание на смеющуюся в кинематографе женщину. Сейчас мне не стыдно признаться, что я очень долго ломал себе голову над вопросом, как объяснить этот нелепый смех, и что загадку я разрешил только недавно, когда побывал в кино, где смотрел ту самую пьесу, в которой с таким милым задором провела свою последнюю роль Сибилла Грэй. Совершенно неожиданно у меня промелькнуло воспоминание о глухонемой, и я подумал: она хотела, когда на экране изображалась драма; возможно, что, глядя на Сибиллу Грэй, оно могла бы прощать друг... Это слово «прочесть» раскрыло мне все. Я вспомнил, что глухонемые умеют читать по губам. Остальное — ясно, не правда ли? Фильмовые актеры не всегда говорят на сцене относящееся к делу. Иногда они ругаются — безобразно, как доковые рабочие, делая при этом учтивую улыбку. Впрочем, я не имею никакого права возмущаться ими, так как это обстоятельно дает мне сейчас возможность совершить презанятное и комфортабельное путешествие вокруг Африки. Кстати, что вам привезти оттуда в подарок: крокодила, жирафа или маленького гиппопотама?

Нет, нам никогда не угнаться за Америкой!

КАФЕДРА

1

Подробное и красочное описание Аргентины француз закончил так:

— Я не сомневаюсь, что эта страна вам очень понравится, и вы там безусловно будете чувствовать себя неплохо. К людям науки там относятся прекрасно. Я бы только предостерег вас от случайных знакомств. Особенно с моими соотечественниками.

Недоумевающей взгляд фройляйн Гоффман заставил его сокрушением добавить:

— Мне, как французу, стыдно в этом признаться, но по совести должен вам сказать, что среди моих соотечественников в Аргентине имеется немало авантюристов и просто мошенников, которые избирают своими жертвами приезжающих иностранок и безжалостно грабят их. Поэтому будьте осторожны.

Фройляйн Гоффман весело улыбнулась.

— У меня, — беспечно сказала она, — им нечем будет поживиться. Мой чемодан набит книгами и очень скромным количеством платьев.

— Я счел своим долгом, сударыня, вас предупредить, — заметил француз. — А в каком виде эти господа могут проделать над вами какую-нибудь гнусность, я, конечно, не могу предвидеть.

Он был очень любезен, этот француз, и, кроме того, показал себя содержательным собеседником. В течение долгого пути из Генуи — 14 дней — фройляйн Гоффман провела с ним не мало часов, иногда, впрочем, еще и в обществе его молоденькой жены, на которой он только что женился во Франции и которую теперь вез в Буэнос-Айрес.

Фройляйн Гоффман была доктор философии и написала ученую книгу о психомоторных центрах. Она владела испанским языком и ехала сейчас по приглашению одного из аргентинских университетов, чтобы занять там кафедру по экспериментальной психологии. Но, как женщина, она все же успела заметить, что произвела некоторое впечатление на француза и тем вызывает ревность у его молодой жены.

2

По приезде в Буэнос-Айрес м-сье Ляпорт проявил еще большее внимание к фройляйн Гоффман. Тут же на пристани, обдумывая, какой из отелей ей рекомендовать, он вдруг всплеснул руками и тоном упрека, обращаясь к жене, воскликнул:

— Мы совершим непростительный грех, если не пригласим м-ль Гоффман к себе в дом! Подумай только, как она одиноко себя будет чувствовать в гостинице!

Юная мадам Ляпорт удивленно посмотрела на мужа и без всякого энтузиазма пробормотала:

— Конечно, конечно.

Француз поспешил загладить недовольную интонацию своей супруги многоречивыми изъявлениями радости видеть у себя в доме ученую женщину, а затем не без пафоса сказал жене:

— Ведь для тебя, Леони, это прямо-таки удачный случай! Завтра или послезавтра я должен буду по делам уехать на целую неделю; ты представляешь себе, как тебе будет скучно одной. Сам Бог посыпает нам м-ль Гоффман.

Леони сразу прониклась доводами мужа и схватила фройляйн Гоффман за руку.

— Не отказывайтесь, мадемуазель! — воскликнула она.
— Я буду очень рада. Очень!

А Ляпорт, уже державший в руке один из чемоданов колебавшейся девушки, торопливо говорил ей:

— В ваше распоряжение, мадемуазель, будут предоставлены две небольшие, но совершенно отдельные комнаты. Конечно, они не будут так комфорtabельно обставлены, как в отеле, но зато вы будете себя чувствовать по-домашнему. А через неделю, когда вы освоитесь с городом и заведете знакомства со своими коллегами, вы поступите, как найдете нужным. И не забудьте, что в наших отелях очень дорого.

Последний аргумент сыграл достаточно серьезную роль: ресурсы фройляйн Гоффман были очень скромны. Она смущенно потопталаась на месте и — согласилась.

Комнаты оказались неважные. Поражало безвкусие, пошловатость убогой мебели и обилие мух. Но радушие хозяина искупало все. М-сье Ляпорт был обаятелен. Немного провинциален в своем энтузиазме, но прямо-таки обаятелен.

3

На другое утро фройляйн Гоффман решила отправиться к одному из профессоров; у нее было к нему рекомендательное письмо.

Ляпорт сначала вызвался проводить ее, а затем подумал и сказал:

— Предварительно справимся по телефону, дома ли профессор и примет ли он вас. К тому же, у нас не принято, чтобы дамы появлялись на улице раньше часа.

Минуту спустя он сообщил, что профессор выехал за город и вернется только вечером. И тут же, взглянув на часы, с какой-то чрезмерной живостью воскликнул:

— А знаете что?! Поедем и мы! Мне, правда, надо отправиться по делу, но по дороге я вам покажу достопримечательности города. Да, это будет отлично.

Он засуетился и позвонил куда-то по телефону, а затем, пока дамы переодевались, стал приводить в порядок свой фотографический аппарат.

Беглый осмотр города длился два часа. Передвигались в старомодном экипаже, напоминающем дормез. Останавливались у знаменательного театра Colon, у Casa Rosad'ы и у Белого Дома, представлявшего точную копию с такого же дома в Вашингтоне.

Вдруг Ляпорт сказал:

— Я вижу, мои дамы, вы очень мало восторгаетесь. Приходится вам показать кое-что другое, чего вы еще никогда не видели.

Он приказал кучеру направиться к берегу Ла-Платы и стал рассказывать о необычайной ширине этой реки, о ее многочисленных островах, на которых растут апельсины. Он говорил без умолку, изображая местную жизнь в бытовых картинках, не лишенных грубоватого юмора и занимательного своеобразия. Дамы слушали и удивлялись. При этом они так увлеклись его рассказами, что почти не уделяли внимания тем живописным местам, мимо которых катился грузный экипаж. И только, когда лошади остановились, фройляйн Гоффман ощутила влажную духоту и увидала вокруг себя густой лес, прикрывавший полуразрушенный домик.

— Тут мы сделаем недолгую остановку, чтобы напоить лошадей и выпить чего-нибудь холодного, — сказал Ляпорт.

Дамы вошли внутрь домика. Пахло сыростью, перегоревшим спиртом и табаком. Показалась старая женщина с лицом оливкового цвета, а за ней двое молодых людей. Когда дамы сели за столик, Ляпорт, потирая руки, приблизился к молодым людям и, подмигнув, сказал им:

— Cana Cubana у вас найдется?

— Сколько угодно, сеньор, — сказал один из молодых людей и, выхватив из кармана веревку, быстро связал вытянутые руки Ляпорта и свалил его на пол. Второй в это время бросился к оторопевшим дамам и ловко запеленал их обеих кожаным лассо. Дамы закричали. Ляпорт дико орал и ругался. Молодые люди вынесли его из комнаты, а вернувшись, распутали дам и бережно скрутили руки каждой отдельно. Через минуту связанная фройляйн Гоффман лежала на кровати. Во рту у нее торчал смоченный какой-то

пахучей жидкостью ватный кляп. Она была одна.

Превозмогая охвативший ее испуг, фройляйн сбросила ноги с кровати и сделала несколько шагов. Через разбитое стекло крохотного окна она явственно слышала, как кто-то шепотом говорил:

— Когда Мадарьяга спросит, какого цвета у нее волосы, ты скажи ему, что за свои деньги он получает то, что хотел — блондинку. И с его ответным письмом скочи обратно.

Фройляйн Гоффман прислушалась и с ужасом узнала голос Ляпорта.

В отчаянии она упала на пол и потеряла сознание. Однако, не настолько, чтобы не узнать Ляпорта, который вскоре вошел в полутемную комнату и сфотографировал девушку при вспышке магния.

4

Хозе Мадарьяга жил в семи днях неторопливой езды верхом от того места, где была спрятана фройляйн Гоффман. Он был гациендеро, то есть скотовод. Его богатство состояло из 1500 коров и 30 000 овец. В Банко де ля Насион хранилось у него несколько сот тысяч пезо. Но зато у него не было женщины.

Два года тому назад умерла от лихорадки его амигита, подруга, русская танцовщица, забредшая в Буэнос-Айрес вместе с бродячей балетной труппой. Мадарьяга купил ее у того же Ляпорта. Француз, правда, немного надул доверчивого скотовода, пообещав доставить ему полную блондинку, а привез шатенку, худую, как жердь. Но все-таки она была очень мила, эта шаловливая стрекоза, сочетавшая унылые песни своей родины с танцами знайкой Аргентины, и Мадарьяга к ней крепко привязался. Одно только было плохо. Сеньорита Наташа не понимала по-испански и за три года усвоила не больше десяти слов. Мадарьяга, любивший поболтать, вынужден был только пялить на нее свои острые глаза, слушать ее песни и молча наслаждаться ее неж-

ным телом. А попытку приучить ее к беседе отбросил на-всегда. И когда после ее смерти ему пришлось сделать новый заказ Ляпорту, он с деловитой лаконичностью, в которой чувствовался горький опыт, сказал ему:

— Только чтобы девчонка была полная и непременно понимала по-испански. А не то я верну тебе ее обратно.

Изобретательный Ляпорт, найдя то, что было нужно Мадарьаге, на этот раз послал ей фотографическую карточку кандидатки. Скотовод тщательно взвесил в уме все статьи своей будущей невольницы, остался ими вполне доволен и дал задаток посыльному.

Фройляйн Гоффман прибыла через три недели. Измученная отчаянием и изнурительной дорогой, она все же нашла в себе силы подготовиться к длинному монологу, который имел своей целью возвратить к человеческим чувствам Мадарьаги.

Но, увидев перед собой полудикого скотовода с разорванным ухом и обрубленным пальцем, позабыла все слова увершаща. С искривленным от страха лицом она поплелась в приготовленную для нее комнату, упала на кровать и пролежала сутки, боясь шевельнуться. На другой день, вечером, к ней заглянул Мадарьага.

На нем был лучший из его костюмов, а волосы были смазаны гвоздичным маслом. Протяжно вздохнув, он сразу заговорил о том, что Господь создал женщину для мужчины, а между тем... бывают мужчины... которые...

Тут язык ему изменил, и Мадарьага никак не мог закончить фразу в осторожных словах. Поэтому он предпочтел сорваться с места и принести подарки. Это были: соломенная шляпа его прежней пленницы, полфлакона духов, губная помада и два золотых браслета.

Фройляйн Гоффман почувствовала, как у нее зашевелились волосы, и она закрыла глаза. Мадарьага потоптался на месте и сказал:

— Вы обдумайте, сеньорита, мои слова. А завтра мы поговорим снова. Обдумайте.

И фройляйн Гоффман думала всю ночь, до крови кусая себе пальцы, хотя думать было нечего, так как лишь два пу-

ти были перед ней: сдаться Мадарьяге или же немедленно покончить с собой.

Но фройляйн Гоффман придумала третье решение: бегство. Выпросив у Мадарьяги отсрочку — надо же немного свыкнуться с человеком, прежде чем сблизиться с ним! — она напрягала все свое умение притворяться и из тоскующей пленицы преобразилась в приветливую гостью. Она вынула из чемодана все свои вещи и книги, аккуратно разложила их, как бы устраиваясь надолго. Затем она попросила разрешения выходить из дома, следить, как загоняют скот и стригут овец. Мадарьяга усмехнулся и разрешил.

Она хорошо ездила верхом и два раза, отправляясь осматривать пастбище, Мадарьяга брал ее с собой. В третий раз, улучив момент, она хлестнула коня и ускакала по направлению к той дороге, по которой ее привезли. Разумеется, через полчаса Мадарьяга настиг беглянку и, поворачивая ее взмыленную лошадь, хмуро сказал:

— В следующий раз я вас, сеньорита, за такую штуку, пожалуй, побью. Да и какой толк в вашей затее, если вы даже и удерете от меня? По дороге вас изловит другой гациендеро и полакомится вами тут же, в степи. Он даже не станет откладывать этого, как я.

От последнего довода сердце у фройляйн Гоффман поникло навсегда.

В ту же ночь Хозе Мадарьяга пришел к ней в комнату, не постучавшись, и, закрыв своей широкой ладонью ее склоненный от ужаса рот, в голодном восторге сделал ее своей покорной наложницей.

Пять лет спустя у фройляйн Гоффман было двое детей, двое мальчуганов — двое черноглазых кроликов. Растиль их в пустыне было не легко, но чадолюбивый Мадарьяга не жалел денег и не останавливался перед тем, чтобы послать в далекий Буэнос-Айрес специального верхового за игрушками или за тальковой пудрой и клистирной трубкой.

Что же касается самой фройляйн Гоффман, то неоглядные пампасы властно отодвинули от нее весь остальной мир, и, кроме материнской любви, она отдала детям еще и те чувства, которые она могла бы отдать любимому мужу или любимому делу.

А еще через год, в день празднования конституции, из соседней эстансии приехал в гости другой гациендеро — с детьми и женой. Фройляйн Гоффман тотчас же узнала в ней француженку Ляпорта и выжидающе улыбнулась. Улыбнулась и та. Им незачем было вспоминать о прошлом, и они сразу заговорили о том, о чем говорят между собой все матери — о своих детях.

Дети же — пять непоседливых сорванцов, — убежав от взрослых, мигом придумали для себя интереснейшую игру, которая в пампасах была еще неведома. Она заключалась в том, что книги по экспериментальной психологии разрывались на мелкие клочки, и тот из малышей, кто проделывал это быстрее других, награждался званием национального героя.

Когда фройляйн Гоффман заглянула к детям и увидела облако бумажной пыли, она онемела от огорчения. Но неподдельный восторг играющих не позволил ей помешать им. Она только решила несколько видоизменить игру и научить маленьких степных дикарей тому, чему некогда обучали ее. Из уцелевших страниц она стала делать бумажные кораблики. Так создалась флотилия пампасов, отдельные суда которой были названы по главам уничтоженных книг: «Рефлекс», «Психомотор», «Зигмунд Фрейд» и «Клапаред».

ТАЙФУН

Повесть

1

Начало было достаточно банальное: сперва манекенша в парижском салоне, потом знакомство с богатым плантатором из Гондураса, который проявлял явно экваториальную влюбленность (212 град. по Фаренгейту) и обещал все сокровища Майев за ее согласие поехать с ним в столицу его республики Тегусигальпу и там обвенчаться. Очень скоро он оказался авантюристом и притом бедным.

Мариэтт, уж чуть было не подарившая ему свою первую благосклонность, дала себе слово впредь быть более осторожной и стала заниматься наведением красоты на перезрелых дам в косметическом салоне. Эта утомительная работа оплачивалась плохо, и когда пришла телеграмма от дяди, вызывавшая ее в Сингапур для такой же работы, но по лучшему тарифу, она, не раздумывая, покинула Европу.

Однако в Сингапуре Мариэтт даже не вышла на берег и очутилась в Шанхае, потому что на пароходе ею серьезно увлекся англичанин Оливер Дильк, действительно богатый и подкупивший ее честным признанием, что он женат и только поэтому не может просить ее руки. Но если бы она захотела стать его возлюбленной, он немедленно внесет в банк на ее имя пять тысяч фунтов для доказательства своего серьезного к ней отношения. Мариэтт попросила предоставить ей два дня на размышление, но больше плакала, чем размышляла, и в восьми часах езды от Сингапура стала его любовницей.

Англичанин был приятно поражен некоторой неожиданностью, крайне необычной в наши дни для самостоятельной женщины, вдобавок побывавшей в роли манекенши, и за это стал относиться к ней еще серьезнее. В Шанхае

он поселил ее в своей же квартире и, нисколько не смущаясь, выдавал ее за свою жену, хотя весь Дальний Восток есть не что иное, как большая деревни, население которой отлично осведомлено друг о друге.

Казалось бы, жизнь Мариэтт сложилась неплохо. Оливер Дильк был джентльмен с головы до ног. Он окружил ее вниманием и заботливостью. Ввел ее в круг своих друзей. Денег у него было много, а главное, он не жалел их. Деликатно предложил ей ежемесячно посыпать приличную сумму в Париж, то есть матери и брату. И кроме того, дал понять, что если его болезненная супруга, жившая в Лондоне, покинет сей неблагоприятный для нее мир, он немедленно узаконит свои отношения с Мариэтт. Что лучшего могла ожидать бывшая манекенша из русских эмигранток?

Но в то время, как болезненная леди Дильк беспрестанно куталась в платки и три раза в день пила «Гиппотрат», чтобы увеличить число кровяных шариков в своем бескровном теле, ее полнокровный супруг, однажды нагнувшись за упавшим мундштуком, тотчас же оказался трупом.

2

Безмятежная жизнь Мариэтт кончилась. Правда, в банке у нее было пять тысяч фунтов, а в шкатулке собралось несколько ценных подарков от великодушного Дилька, но жизнь надо было начинать сначала.

Сначала она твердо решила вернуться в Париж к матери и брату, но вскоре раздумала. Париж мог предоставить ей прежнее положение русской эмигрантки. Здесь же, в Шанхае, она была такой же привилегированной иностранкой, как и все другие. Вдобавок, экзотический Восток, неизменно поражавший неожиданностями, не отпускал ее на Запад, прозаический и мелочный. Как мусульманин оставляет свои башмаки у дверей мечети, так европеец, вступая на землю Востока, оставляет свои маленькие мещанские масштабы. Здесь все чудо, колдовство в огромных размерах, в боль-

ших пропорциях, и притом изменчивое и каждый раз ослепляющее по-новому. Мариэтт осталась в Шанхае. Друзья Дилька и его знакомые приняли в ней самое теплое участие и даже пытались устроить для нее дело — вроде салона красоты. Мариэтт, однако, предпочла поступить на службу в экспедиционную контору.

Но всякому ясно: культурная женщина 27-ми лет, с хорошими манерами, с приятной внешностью — особенно пленял мужчин золотой пух, спускавшийся от уха по щеке, напоминая собой первую растительность юноши — не могла оставаться в Шанхае без чьего-нибудь пристального внимания. Европейская женщина котируется здесь высоко. И, действительно, не прошло полугода после смерти Оливера Дилька, как в ее окружении появился целый выводок мужчин, усердно оспаривавших друг у друга заманчивую возможность сблизиться с нею. Это усердие заключалось в одном: в изобретательности. Каждый из претендентов на ее любовь старался придумать наиболее занятное, еще не испытанное и запоминающееся развлечете. Ну, конечно, оно должно было действовать на чувственность или приводить нервы в трепетание, что для женщины, как известно, одно и то же.

Так Мариэтт познакомилась с потаенным миром китайской развращенности, после которой всякая иная кажется пресной. Однако, усердие ее проводников по кабачкам и темным кварталам оставалось не вознагражденным. Мариэтт была только зрительницей чувственных неистовств, туристкой-наблюдательницей, изучающей чужую жизнь. Кавалеры досадовали, злились и ревниво следили друг за другом, не допуская возможности, что Мариэтт бесстрастна и ведет аскетическую жизнь.

Это продолжалось до тех пор, пока в Шанхае не появился г. Стэн.

ли от Калькутты до Иокагамы. Известно было, что он всего добивается, ничего за это не давая. Знали также, что он разносторонне образован. Дела его были таинственны, и поэтому данные о нем были разноречивы. Одни говорили, что он скапивает джут. Другие уверяли, что он торгует опиумом, который доставляется в Шанхай, Гонконг и Харбин, замаскированный флаконами лучших французских духов. Третий уверяли, что он некогда служил в иностранном легионе в Марокко. Во всяком случае, у женщин он имел успех. Мужья его боялись. Холостые его ненавидели или же завидовали ему.

Мариэтт познакомилась с ним в клубе. Он остановил ее внимание своей необычной манерой выражаться, и эта манера вызывала в ней предположение, что он журналист или писатель. Так, об одной проходившей мимо них полной американке он сказал, что ее бюст выступает из берегов, точно река Миссисипи в половодье. О группе англичан, глубоко-мысленно беседовавших рядом с ним за столиком, он отозвался, как о коллекционерах умственных окаменелостей. Когда Мариэтт спросила его, чем он занимается, Стэн подумал немного и сказал:

— Откровенно говоря, я занимаюсь тем, что в поте лица добываю хлеб из чужого кармана. Но позвольте не распространяться: Вольтер любил повторять, что самый умный человек, когда начинает говорить о себе, невероятно глупеет.

Может быть, Стэн и позировал, но все-таки он не был похож на других. И этим он сразу понравился ей. В конце концов, думала она, все ее шанхайские знакомые, и даже покойный Оливэр Дильк, в большей или меньшей степени были авантюристами. Она сама — тоже. Стэн безусловно авантюрист, но зато занимательный и неординарный.

Они стали встречаться почти каждый день. И их уже начинал преследовать глухой шепот осуждения. Всем было ясно, что от Стэна она не увиляет и что не сегодня-завтра он овладеет ею без всяких для себя обязательств.

Между тем, Стэн еще ни разу по-настоящему не проявил к ней особого внимания, оставаясь сдержаным и зам-

кнутым. Только однажды, расставаясь с ней, он, как бы стесняясь своей откровенности, сказал ей:

— Беседа с вами играет роль кремня, о который зажигаешь свое собственное пламя.

Это был приятный, ценный и двусторонний комплимент, не поддающийся отводу. Мариэтт даже вспыхнула от удовольствия. Ложась в этот вечер спать, она мысленно повторила его фразу и презрительно подумала о тех, кто не одобрял ее нового знакомства.

4

В тот день над Шанхаем пронесся тайфун. Но Мариэтт не заметила его. Накануне, при встрече в клубе, Стэн во время оживленного разговора внезапно заявил, что по делам ему необходимо завтра же уехать. Надолго? Он прямо не ответил, но дал понять, что в Шанхай он вернется не скоро. Затем перешел на другую тему, поочередно меняя свое настроение — то был остроумен и язвителен, то вдруг становился рассеянным. И за один час уютной беседы за столиком, на котором скромно возвышались сифон сельтерской воды и бутылка какого-то вина, таинственный Стэн показался Мариэтт нисколько не таинственным. Напротив, она почувствовала в нем человека, смертельно скучающего от отсутствия равных себе. Этим приемом полускрываемой тоски он накинул на Мариэтт мертвую петлю, и когда на другой день, вместо того, чтобы прийти попрощаться с ней, он прислал ей цветы и прощальное письмо, — она явно ощутила досаду.

Ей показалось, что она несколько суха была с ним вчера и что он обиделся. Так возникла у нее мысль непременно повидаться со Стэном, и за работой в экспедиционной конторе она все время думала, как это устроить. Она знала его отель. Но не явиться же ей к нему — об этом немедленно узнал бы весь европейский квартал. Она нервничала и успокоилась только тогда, когда решила позвонить к нему

по телефону. Но, вызвав его, смущилась и в несвязных словах попросила его зайти к ней.

Он приехал, когда небо уже было желтым и по улице носились облака пыли. Начинался тайфун. Но тайфун возник и в сердце Мариэтт, когда Стэн, превзойдя себя в замалчиваниях, стал говорить об Агасфере, который бродит по всему свету и не находит покоя.

— В конце концов, мне скучно, — говорил Стэн. — Я дурчусь, забавляюсь дипломатической игрой со всякими продувными бестиями, но все же мне скучно. Сейчас я еду в Харбин. Я заранее знаю, что мне предстоит победа в том деле, по которому меня туда требуют, и поэтому еду я без особого интереса. И так всегда. Кстати, Харбин почти совсем русский городок, который должен вам напомнить вашу родину. Но очень скоро он перестанет быть русским, потому что японцы завладеют им полностью и вытравят все чужеземное. Не хотите ли съездить туда?

Мариэтт широко раскрыла глаза.

— Поедем! — сказал он ласково-фамильярно. — Поверьте, что вас это ни к чему не обязывает. Кроме того, я умею держать себя, как вы это сами, вероятно, заметили, и вам ничто не угрожает. И наконец, вы взрослый человек. А поехать с вами — это действительно будет большое удовольствие.

— Заманчиво, но совершенно невозможно, — не вполне твердым тоном ответила Мариэтт, потому что предложение Стэна сейчас ей уже не казалось таким диким, как в первый момент.

А тайфун уже бушевал по-настоящему. Слышался непонятный грохот и гул. Звенели стекла в окнах от хлеставшего их дождя. И усиливалась духота, поднимавшая к вискам кровь.

Свой отъезд Стэну пришлось отложить.

В пути Мариэтт много раз возмущалась собой: как это она могла дать себя убедить поехать в далекий Харбин и прервать занятия в конторе? Но в конце концов успокоилась. Стэн был безупречен и занимателен, как никогда, — посвящая ее в историю Китая с обстоятельностью заправского ученого. И когда они приехали в Харбин, Стэн окончательно покорил ее своим умением устраиваться, добиваться и располагать к себе людей.

Понравился ей и Харбин, действительно напоминавший Россию, в частности какой-то приволжский город. Особенно тронула ее часовня на Харбинском вокзале, мимо которой проходили пассажиры, истово крестясь. Это было давно не виданное зрелище. Да и сохранился ли еще где-нибудь на белом свете вокзал с русской часовней?

Два дня Стэн пропадал по делам, а на третий перед вечером он предложил Мариэтт погулять по набережной Сунгари. Тут впервые он сказал ей:

— Никто, понятно, не мог бы поверить, что мы с вами не близки. И согласитесь, что наши отношения действительно не совсем обычны.

— Не нахожу в этом ничего особенного, — ответила она с искусственным удивлением.

— А что бы вы сказали, если бы я в самом деле стал помогаться вашей близости?

Она громко усмехнулась.

— По-моему, вы это все время делаете.

— Верно. Не отрицаю, — признался Стэн. — Но что поделаешь, когда вы неприступны, как Гибралтар. И при всей своей мужской самонадеянности, я с вами робок.

— Так вы, вероятно, говорите всем женщинам.

— Вот это уже неверно. Никогда я этого не говорил. И скажу вам правду, первого шага я всегда жду от женщины.

Мариэтт подумала: «Этого ты никогда не дождешься от меня, потому что любить я тебя не люблю».

Они сидели на скамейке. Было темно и пустынно.

— А не пора ли нам вернуться в более людные места? — спросила Мариэтт, оглядываясь по сторонам.

— А что? Вы боитесь? Сейчас пойдем, — сказал Стэн и, вынув из кармана электрический фонарик, осветил им откос обрыва.

— Несколько лет назад на этом самом месте...

И он стал рассказывать о своей случайной беседе с китайцем, который некогда увлекся русской дамой.

Но Стэн не окончил этого рассказа, потому что сзади на них набросились четыре человека, заткнули им рты и, привязав их обоих к скамейке, стали осторожно спускаться по откосу вместе со скамейкой.

От ужаса Мариэтт потеряла сознание, потому что вспомнила о хунхузах, которые уводят людей и затем требуют выкуп. Об их зверских вымогательствах — отрезанное ухо пленника или его пальцы — рассказы ходили по всему Дальнему Востоку.

6

Она пришла в себя в лодке, быстро плывшей в темноте, через которую обозначились силуэты двух китайцев, сидевших за веслами. Стэна не было. Она же лежала связанная на мешке с соломой и дрожала от ночного холода и страха. Сейчас поздно было раскаиваться в поездке, но все же мысль вернулась назад в Шанхай, к неожиданной беседе со Стэном, который непонятным образом раздразнил в ней легкомысленное любопытство. Но жив ли он? Стэн не так прост, чтобы подчиниться насилию. И где другие два китайца? У Стэна всегда при себе браунинг. Китайцы гребут торопливо. Не спасаются ли они бегством? И ей представилось: Стэн бешено сопротивляется, его ранят и отвозят в противоположную сторону, чтобы затруднить поиски. Но кто вздумает разыскивать их в чужом городе? Хунхузы несомненно потребуют выкуп. Но от кого? И какие издевательства предстоят ей?

Безнадежность и отчаяние усилили страх. И снова наступило беспамятство, похожее на бред, в котором жутко заилькали силуэты китайцев, окровавленное лицо Стэна и неистовства тайфуна.

...Снова пришла в себя, но плохо соображала, что с ней делаю. Ее куда-то осторожно несли, потом положили на койку. Пахло смолой, рыбой и каким-то отвратительным жиром. Затем зажегся свет маленькой керосиновой лампы. Китаец, оскалив желтые зубы, нагнулся к ней и с детской улыбкой сказал по-русски:

— Мадама, пиши скорей письмо. Пусть твоя приятели дадут нам деньги. Тогда ты айда пойдешь домой.

— У меня здесь никого нет, — сказала Мариэтт не своим голосом. — Я только два дня назад сюда приехала.

Китаец снова улыбнулся.

— Без деньги нельзя, — сказал он с лукавым видом, точно в шутку. — Если не будет деньги, моя тебе сделает чик-чик. Сначала одна палец, потом другая палец на лева рука. Пиши скорее письмо.

— Но мне же некому писать! — повторила Мариэтт и вдруг, спохватившись, спросила: — А где тот господин, что сидел со мной?

Китаец сделал плаксивое лицо.

— Тот капитана уже утонул Сунгари. Глубоко. Никто не найдет. Пиши письмо. Пиши. Вот бумага.

— Кому же я буду писать? — повторяла Мариэтт с замирающим сердцем.

Китаец подумал немного и, снова улыбаясь, сказал:

— Пиши письмо гостиницу, чтоб дал твой чемодан. Там мал-мала есть чего-нибудь. Найдем.

Мариэтт торопливо соображала:

«Там лежит чековая книжка. Пусть. Но китаец наивен. Тем лучше. За ним проследят и...»

Она стала писать. Но что делать, когда письмо было явной нелепостью? Как объяснят в гостинице ее внезапное отсутствие? И, наконец, ведь надо заплатить за четыре дня!

Она кончила писать. Китаец взял в руки письмо и сказал:

— Ты хорошо написала, мадама? Смотри. Мы прочитаем. Когда нехорошо, сделаем чик-чик.

Мариэтт «хорошо» написала, без лишних слов, но надеялась, что в гостинице и так поймут, что с ней что-то случилось.

Китаец опять улыбнулся и ласково сказал:

— Спи. мадама. Моя тебя не обидит. Моя — хороший. Спи. Завтра нет, послезавтра, ну, может, после-послезавтра ты айда пойдешь домой.

Утром, когда проснулась, нашла возле себя на столике кусок колбасы, булку и бутылку молока. Долго не прикасалась к этому, но затем не выдержала и стала есть. Через маленько зацветшее и мутное окошечко увидела быстрое течение реки и поняла, что находится в трюме баржи или парохода. И только теперь сообразила, что доносившиеся до нее однообразные звуки были движением воды, ударявшейся о борт. Все это нисколько не облегчало ее положения, но одной неизвестностью стало меньше, и сквозь отчаяние пробилась надежда, что разъяснится и все остальное.

В полдень китаец вернулся. В руках у него был ее чемодан. Вместе с ним он передал ей сумочку, которая исчезла вчера вечером во время нападения.

— Открывай, мадама, — весело сказал китаец. — Посмотрим, что есть.

— Ничего у меня нет, — на всякий случай сказала Мариэтт, подумав, что китаец не поймет назначения чековой книжки.

Но он сразу обратил на нее свое внимание.

— Вещи не надо, — презрительно заметил он. — Пиши в книжку, чтобы дали деньги. Только хорошо пиши. Чтобы не было шалтай-болтай. Будет шалтай-болтай — сделаем чик-чик.

Мариэтт медлила. Она не знала, какую сумму выставить на чеке. На текущем счету у нее было семь тысяч фунтов.

— Пиши, пиши, — торопил китаец.

Она решилась.

— Сколько написать? У меня всего в банке тысяча английских фунтов.

— Ай, мало! — покачал он головой. — Будем резать палец. Ай, нехорошо!

И внимательно посмотрел на нее. Она испуганно заметалась, не зная, что делать. Повысить сумму — значит признаться в своей лжи.

— Подожди, — сказала она. — Я подсчитаю. Может быть, есть больше.

Она долго считала, высчитывала, что-то записывала на обложке, снова считала. Ей хотелось, чтобы китаец сам называл сумму. Но он лукаво улыбался и молчал.

— У меня всего 1850 фунтов, — произнесла она наконец.

— Тебе я дам 1500, а 350 останутся мне. Надо же оставить и себе на дорогу,

— Ай, мало! — причмокивая, обронил китаец. — Пиши больше. Ну, пять тысяч пиши. А то худо будет.

— Но у меня нет столько! — закричала Мариэтт с не-поддельной досадой.

Китаец безнадежно развел руками и сказал:

— Как хочешь, мадама. Твоя деньга — моя ключ.

И, показав на ключу от каморки, добавил:

— Моя будет ждать. Один час. Два час. Потом буду делать чик-чик.

Интонации у китайца были добродушные. Его угроза не казалась ей настоящей. Она пожала плечами. Китаец медленно вышел из каморки и нарочито громко запер ее. Мариэтт прислушалась: он оставался за дверью и, очевидно, ждал, что она позовет его. Тогда она решила не уступать.

Через несколько минут китаец сказал из-за двери:

— Пиши четыре тысячи.

— У меня нет столько, — торжествуя, ответила Мариэтт.

— Ну ладна, пиши три с половиной.

— И этого у меня нет, — продолжала хитрить Мариэтт.

— Меньше нельзя, — заявил китаец. — Как хочешь. Моя ушла.

И действительно, китаец ушел. Мариэтт долго прислушивалась и когда увидела, что уже прошло около часа, а китаец не возвращается, ей снова стало страшно, как в первые мгновения. Она уже готова была выписать чек на три с половиной тысячи, но как сделать, чтобы у китайца осталось впечатление, что больше действительно у нее нет? Наконец она придумала: она предложит китайцу выставить на чеке 2800, а что касается остальных 700 фунтов, то она обещает выслать их из Шанхая. Может быть, эта наивность заставит его поверить, что в самом деле больше у нее в банке ничего нет.

Она так и сделала.

Китаец выслушал ее, засмеялся — долго смеялся — и, похлопав ее по плечу, сказал:

— Моя добрый. Пиши две тысячи восемасот. Только хорошо пиши.

Когда чек был выписан, Мариэтт спросила:

— А когда я буду свободна?

Китаец ответил:

— Когда получим деньга, тогда ты айда пойдешь домой.

Он ушел. Она задумалась: в здешнем банке по чеку получить нельзя; до Шанхая четыре дня езды; туда и обратно восемь; почему же сегодня ночью китаец обещал «после-послезавтра»? Или он, может быть, думает, что деньги выдадут ему здесь, в Харбине?

Заложив руки под голову, она легла на койку, стараясь представить себе, какие еще неприятности могут ее ожидать. Но незаметно она стала думать о Стэне. Не верилось, что его уже нет в живых. Не происходит ли с ним то же, что и с ней?

В двенадцатом часу ночи в каморке внезапно появился китаец. Мариэтт радостно подумала, что он пришел освобо-

дить ее, но, заметив его хмурое лицо, испуганно приподнялась с койки.

— Буду делать чик-чик, — сказал он, пробуя на пальце лезвие ножа.

— Почему? Что такое? — вскрикнула Мариэтт.

— Моя добрый. А ты, мадама, врешь-врешь. Нехорошо писала бумагу. Деньга не дают. Банка смеялась. Шалтай-болтай писала мадама. Моя добрый. Ты — мошенник, мадама. Сейчас буду делать чик-чик. Давай рука. Буду делать палец долой.

— Неправда! — закричала Мариэтт, вся дрожа, и отскочила к стенке. — Я правильно написала! Две тысячи восемьсот.

— Нет, нет, — спокойно ответил китаец. — Шалтай-болтай. Худо писала. Моя ничего не делал худо. Моя добрый. Ты — нет. Сейчас буду резать палец. Чик-чик. Давай лева рука. Права будет писать другая бумага.

— Честное слово, я написала правильно! — закричала Мариэтт и не узнала собственного голоса.

Ужас сдавил ей горло, и в нем ощущались беспрерывные судороги. Чувствовала, что сейчас, как в детстве, когда ее обижали, — бросится на китайца и начнет кусать его. Но у китайца в руках был нож...

— Я написала правильно, — тупо повторяла она. — Правильно. Все, как надо. А в банке тебе сказали неправду. И я не позволю тебе отрезать у меня палец.

— Кричи, мадама, сколько хочешь, — невозмутимо сказал китаец. — Се равно никто не слышит. Лучше давай рука, а то худо будет. Возьму веревку, свяжу руки, в рот суну тряпку — будешь тихая; а моя пробует, какая мадам баба. Моя любит русская баба, — белая, чистая!

Мариэтт съежилась от страха, глотнула воздуха и медленно стала отступать вдоль стены, не спуская глаз с китайца.

— Ну, мадама, скоро-скоро.

И, вынув из кармана веревку, стал неторопливо распутывать ее.

— Ты не смеешь! — закричала Мариэтт и заплакала совсем по-детски беспомощно, бессильно.

В это самое мгновение раздался сильный удар в дверь, показался Стэн, китаец отскочил в сторону. Прозвучал короткий, сухой треск браунинга. Китаец упал.

Стэн схватил Мариэтт за руку и, тяжело дыша, сказал:

— Идем. Где ваш чемодан?

Мариэтт восторженно посмотрела на него и вырвалось у нее по-русски:

— Боже мой, какое счастье!

Затем она схватила чемодан и выбежала вслед за Стэном, который освещал фонариком путь перед собой.

Несколько мгновений спустя они выбрались из баржи и сели в лодку. Двое гребцов подхватили чемодан и быстро загребли, не произнося ни слова.

Ночь была черная, как бархат. Но впереди небо было освещено розоватым заревом городских огней. Лодка туда и направлялась.

9

Прижимаясь к Стэну, — не столько от холода, сколько из нежного чувства к нему, — Мариэтт тихо спрашивала:

— Как вы узнали, где я? Что произошло с вами?

— Потом все объясню подробно, — спокойно сказал Стэн.
— Впрочем, могу и сейчас. Тогда мне удалось вырваться. Это когда меня усаживали в лодку. Вы в это время были в обмороке и вас отнесли в другую лодку. Так вот: я вырвался, предварительно кого-то оглушив ударом. Хотел было тотчас же заявить полиции, но потом раздумал. Поиски полиции могли трагически решить вашу судьбу. Я решил ждать, пока не потребуют выкуп. И я не ошибся. Вчера явился ваш китаец за вещами. В гостинице, естественно, не хотели выдавать чемодан, но я приказал выдать и проследил за китайцем. Это было днем. Ничего нельзя было предпринять, потому что у баржи безотлучно находились четыре китайца.

Поэтому я отложил до ночи. Вот и все. Но из Харбина нам надо немедленно уезжать.

— Еще несколько минут... — сказала она и запнулась.

— Еще несколько минут, и он бы отрезал у меня палец. Какое счастье, что вы явились!

— Виноват, — удивленно спросил Стэн. — Почему же он хотел отрезать у вас палец? Он требовал чего-нибудь у вас?

— Я выписала ему чек, — торопливо объясняла Мариэтт.

— Он сбежал в город и, очевидно, ему в банке денег не выдали. Ну ясно — моя чековая книжка на шанхайский банк. Тогда он решил, что я его обманула.

— Ах, вот что! А чеку у него?

— У него.

— И на какую сумму?

— На 2800 фунтов.

— И это все, что у вас было?

— Нет, у меня еще осталось. Но как вы думаете, они смогут получить деньги?

— Не знаю. Вряд ли. Во всяком случае, мы что-нибудь придумаем. Но только прошу вас: ни одного слова о том, что с нами произошло. Ни одного слова. Иначе полиция нас здесь задержит до полного расследования всего дела. А тут еще раскроется, что убит ваш китаец.

— Тише! — шепнула она.

— Ах, они ничего не понимают, — спокойно сказал Стэн и, приблизив к Мариэтт свое лицо, тихо спросил:

— Я надеюсь, вы мною довольны?

Мариэтт ничего не сказала и только сильнее прижалась к нему вместо ответа.

— А вы помните, — продолжал он, — мои слова о том, что вы неприступны, как Гибралтар и что первого шага я жду от вас?

— Ах, Боже мой! — воскликнула Мариэтт. — Прежде всего нам надо очутиться в полной безопасности. А уж потом будем вести разговор на эту тему.

— Вы уклоняетесь от ответа, — сказал Стэн.

Мариэтт взяла его руку, приложила ее к своей щеке и в смущении произнесла:

— Неужели же нужные еще какие-то слова? Разве вы не видите, что я восхищена вашей смелостью и мужеством?

— Это еще не ответ, — возразил Стэн.

— Глупый! Какой еще ответ вам нужен? — пробормотала Мариэтт и, пользуясь темнотой, крепко охватила Стэна за шею.

Полтора часа спустя в бурной радости освобождения она стала его возлюбленной, охваченная восторженной мыслью, что останется при нем навсегда, потому что впервые полюбила по-настоящему.

10

Первое, что пришло в голову после длительного и крепкого сна, — было ощущение предельного счастья, которое складывалось из восторга перед героической смелостью Стэна, перед его находчивостью, его рыцарством и умением подчинять себе жизнь. В конце концов он победил и ее, не прибегая к унижающим мужчину упрашиваниям и уговорам. Она сама пошла к нему.

Мариэтт улыбнулась. Вспыхнувшие воспоминания об интимностях вчерашней ночи наполнили ее сладостным блаженством.

Физическая близость с Дильком была всего лишь суммированной податливостью и необходимой уступкой. Со Стэном это было совершенно другое, впервые изведанное и всколыхнувшее ее целиком.

«Тайфун», — весело подумала Мариэтт и повторила:

— Тайфун чувств.

С этими словами на устах она вскочила и стала одеваться с уверенными движениями женщины, которая знает, что нравится и что ее ждут. Натирая лицо кремом, она вдруг заметила записку, подсунутую под дверь. Это писал Стэн. Он сообщал, что, не дождавшись ее пробуждения, пил кофе без нее и ушел по делам. Обещал вернуться к трем часам и просил из отеля не выходить.

Мариэтт снова улыбнулась. Весело и содержательно было ей со Стэном, даже в тревоге, потому что от него исходило мужественное спокойствие, никогда его не покидавшее.

Постучали. Вошла горничная и сказала, что пришел какой-то китаец по очень важному делу и ждет внизу. Мариэтт насторожилась. Китаец? Не из тех ли, которые..? Не угрожает ли ей новая история?

Она отказалась спуститься. Пусть придет позже.

Через минуту горничная вернулась и снова заявила: «По очень важному делу».

Мариэтт подумала немного и велела позвать китайца к себе в номер — не хотелось проявлять перед горничной свою трусость, хотя горничная могла бы объяснить ее отказ брезгливым нежеланием разговаривать с каким-то китайцем.

Открылась дверь. Вошел китаец. Мариэтт так и ахнула, увидев его, потому что это был ее тюремщик, который остался неподвижно лежать на полу после того, как Стэн в упор выстрелил в него.

— Мадама, — сказал китаец, низко кланяясь. — Ты не бойся. Моя — добрый. Моя хочет сказать правду. Моя зовут Фу-Сынь. Моя бедный, только честный и не хочет, чтобы мадама плохо думай о Фу-Сынь. Лучше плохо думай о капитана. Это он научил моя и моя товарищи делать, как хунхуз. Моя не хунхуз. Моя рабочий. Капитана пришел, давал задатка, чтобы мы делал, как хунхуз, и говорили тебешибко страшно, как, будто будем тебе резать палец. И еще говорил капитана, чтобы я взял твоя зеленая бумага на деньга. Моя отдал ему зеленая бумага. И две тысячи восемьсот он будет себе брать в карман. Моя нет. Моя получила на четыре человек шестьдесят доллара. Больше нет. И ты, мадама, не думай плохо о Фу-Сынь. Потому Фу-Сынь хотел заработать мал-мала.

Настежь раскрытыми глазами смотрела на него Мариэтт и не хотела верить ни одному его слову — не хотела, не хотела! — чувствовала совестливую душу китайца.

— На каком языке говорил с вами мистер Стэн? — спохватилась Мариэтт.

Китаец не понял вопроса.

— Как говорил с вами капитан — по-английски, по-китайски?

— Зачем китайски, — усмехнулся Фу-Сынь. — Говорил русски. Капитана русски.

Ошеломленная стояла Мариэтт, прислушиваясь к смятенным голосам, которые звучали внутри нее. Стэн — русский? Стэн подстроил весь этот ужас, чтобы показать перед ней свою отвагу? И в то же время добыть у нее чек? Какая гадость! Какой негодяй! Недаром в Шанхае говорили о нем, как о подозрительном типе. Уехать, немедленно уехать, чтобы больше не...

— Прощай, мадама, — сказал китаец. — Но я только это хотел говорить. Чтобы ты не думай плохо о Фу-Сынь.

— Погоди, — решительным тоном сказала Мариэтт. — Можешь ты прийти сюда в три часа и еще раз сказать то же самое при капитане?

— Ай, нет! — испуганно ответил китаец. — Капитана будет шибко сердитый и будет моя бить. Ай, нет!

— Я заплачу тебе, — настаивала Мариэтт.

Китаец вздохнул, почесал затылок и задумался. Потом собрался с духом и сказал:

— Ну, ладна. Только моя придет с два товарища. Без товарищей шибко страшно.

— Хорошо, — согласилась Мариэтт. — Тогда приходите все в половине третьего. Понимаешь? В половине третьего. И не опаздывайте.

Очная ставка с Фу-Сынем кончилась для Стэна не так, как ожидала Мариэтт. Она думала уличить Стэна в низости, презрительно оскорбить его и выгнать вон. Но произошло другое.

Два товарища Фу-Сыня были спрятаны за ширму, и когда совестливый китаец взволнованно повторил свои слова, Стэн в ярости посрамления зверски ударили Фу-Сыня прямо в висок. Китаец упал — на этот раз действительно мертвым. Но вслед за тем из-за ширмы прозвучали два мстительных выстрела его товарищей. Был убит и Стэн, и Мариэтт пришлось надолго задержаться в Харбине, пока следствие не установило, что она была только жертвой Стэна, а не виновницей его смерти, как это предполагалось вначале. Вместе с тем она получила обратно свой чек, найденный у Стэна в бумажнике.

Точно опустошенная, уезжала Мариэтт в Шанхай. Подлинным тайфуном рисовалось ей происшедшее: неожиданно нагрянул ураган, опрокинул, разрушил, уничтожил существующее, изуродовал, загрязнил самое ценное — и заново надо устраивать жизнь. Три недели пребывания в Харбине, где ее к тому же уверенно считали подстрекательницей к убийству, были для нее так же мучительны, как часы, проведенные в каморке с Фу-Сынем. В Шанхае встретили ее косоглазые взгляды знакомых. Она увидела, что ее избегают, как опозоренную, и решила вернуться в тихую Европу.

Но впоследствии, уже будучи замужем, когда воспоминания утратили свой кошмарный облик, она думала о Стэне без всякого негодования. Напротив, она часто ловила себя на том, что в ее мыслях об этом странном человеке таится теплота признательности: самое яркое в ее жизни и неповторимое дал он!

Час впервые изведенной с ним страсти и час острой ненависти к нему стоили целой вечности спокойного бытия. И неизменно при таких воспоминаниях прокрадывалась утешающаяся мысль, что история с чеком была, скорее всего, понята ею неправильно, что Стэн вернул бы его — для еще одного доказательства своей ловкости, показывать которую было у него, должно быть, такой же потребностью, как у фокусника показывать фокусы...

Прекрасная жемчужина возникает от незаживающей раны. Так возникает иногда и возобновленная любовь.

Приложения

П. Пильский

СМЕРТЬ В. Я. ИРЕЦКОГО

Совсем неожиданно пришла весть: умер Виктор Яковлевич Ирецкий. Это был даровитый беллетрист, — прошлым летом он мог бы отпраздновать 30-летие своей литературной деятельности. В первый раз это имя я увидел под критической статьей. Оно метнулось мне в глаза со столбцов петербургской «Речи». Там появлялись не только литературные рецензии Ирецкого, но и театральные отзывы его и рассказы. Потом эта подпись не раз попадалась мне в книжках ежемесячных журналов. В. Ирецкий помещал свои беллетристические вещи в «Вестнике Европы», «Современном мире», наконец, во время войны я вновь увидел эту подпись в горьковском журнале «Летопись». Не перечесть его рассказов, появлявшихся в петербургских еженедельниках, в газетах и альманахах.

Ирецкий был плодовит, изобретателен и разнообразен в темах, умел держать своего читателя в непрерывном напряжении его любопытства; выдумщик сюжетов, влюбленный в грандиозность и неожиданности. В толпе пишущих Ирецкий невольно обращал на себя внимание. Выделить свой рассказ в России из тысячи других было не так просто, а в те годы печатались именно тысячи беллетристических вещей. Если Ирецкого отметили уже тогда, — значит, у него было нечто большее, чем литературное умение излагать и завлекать. Лишним подтверждением его беллетристических прав является большая удача, выпавшая на долю молодого автора, как редчайшее счастье. Говорю о гоголевской премии. Ею Ирецкий был удостоен от Московского общества любителей Русской Словесности. Он получил ее в 1910 г., по случаю гоголевского юбилея.

Беллетристы бывают двух родов: люди жизни и люди мысли. Первые — непосредственны, вторые — сочинителя и выдумщики. Одни — во власти живой Природы, встреч и

впечатлений. Другие обольщены заманчивостью схем. Конечно, и здесь совершенно чистых типов не бывает: речь может идти лишь о преобладании того или другого. Между прочим: характерной, часто натянутой смесью беллетристической теоретики и практики являются писания Горького, — особенно его романы и пьесы. Философски-схематический материал подавлял в последние годы и Леонида Андреева.

И В. Ирецкий, по преимуществу, был схематик. Его увлекал беллетристический чертеж, ему нужны были грандиозные планы, размахи замысла, прямые линии, точные вычисления, величественные постройки. На Ирецком оказались нерусские влияния. Недаром свои давние молодые критические заметки в «Речи» он посвящал, главным образом, иностранной литературе. В его широко задуманном романе «Наследники» (1928) могут быть рассыпаны и Золя, и Уэльс. Тут передача из поколения в поколение идей и задач жизни, вера в непререкаемость законов природы. Герой романа, Ларсен, поставил себе грандиозную цель: течение Гольфштрома должно быть разбито, Европа замерзнет, — пусть, зато процветает Дания. В теории все выходит просто, ясно, закономерно. Нужно лишь устроить волнорез, — и образуется остров, будет создан роковой треугольник — его острие обращено к Флориде. Об эту твердь среди океана Гольфштром ударится и расшибется, Гренландия станет цветущей страной, Дания возместит потерю Шлезвига и Гольштинии. Замысел необычен, но ясно: это замысел не столько таинственного и неизвестного Ларсена, сколько беллетриста Ирецкого, не мирившегося с узостью планов и скромностью тем. В этом — хороший порыв, отвращение к шаблону.

Похвально не только быть оригинальным, похвально и желание им быть. Это — искание труднейших путей, требовательность к себе, напряженность авторской воли, упорство в осуществлении замысла. По всем страницам здесь разлита строгая и точная логичность, и весь характер даровал Ирецкого был тоже очень логичен. Он глубоко верил в силу последовательности, — только поэтому можно было выбрать такую трудную тему. Ее главная трудность — во вне-

шнем однообразии. Ирецкий этого не боялся. Чтоб на протяжении сотни страниц вести беспокойное читательское внимание за неторопливым развитием темы и замысла, нужно было хранить в своей душе большие упования на постоянную заинтересованность читателя логикой, но также верить и в свою собственную силу захвата. Романисту это удалось. Ирецкий умел преодолевать. Поэтому ему удавалось взнудзывать и саму логику.

Но внутри романа у Ирецкого должны были происходить неожиданные и соблазнительные чудеса, должна была царить нечаянная радость, волновать капризное сплетение случайностей. У Ирецкого они пробегали в быстром темпе, нетерпеливо и бойко, а рассказ разгорался, сверкали и пролетали неожиданные дела, неожиданные произшествия, неожиданные страсти, приводившие к неожиданной связке. Но вдруг беллетристу Ирецкому эта логика надоедала, становилась противной, и в этом романе («Наследники») интригующий вымысел легко расстался с логичностью, счастливо забыл последовательность, как-то нервно, как-то сладко развернулся и затрепетал скрытым огнемком — обычным блеском Ирецкого, сухой и в то же время отчетливой ясностью. У этого писателя едва ли не самыми любимыми были чуть-чуть сумеречные тона, стальные и багряные, тихие тона осени.

Ирецкий всегда дорожил замыслом больше, чем форма. Идея романа для него имела решающее и громадное значение, — ею он дорожил сильней, чем внешними обличиями и приемами раскрытия сюжета. Он любил еще афоризмы и парадоксы, ценил неспокойную скептическую мысль. Была у Ирецкого и еще одна характерно-интересная черта. Ее можно назвать потребностью противоречий, или протестующим упрямством. Его тайная страсть — перечить. Он любил крайности. Вот — 1920 г. В Петербурге — холод, ужас, замерзание, обтрепанность, начало вырождения. Как раз в этом году, где-то на кухне, в страшном холода Ирецкий пишет стилизованные рассказы из эпохи 16, 17 и 18 веков («Гравюры»).

По своей натуре, по характеру своего творчества, своим пристрастиям, Ирецкий рассудочен. Он, во всяком случае, никогда не выдавал своей страстности.

В своих основных построениях, даже при своем скептицизме, Ирецкий был и остался сторонником и защитником идеи гуманности, но основная мысль, напр., его романа «Холодный уголь» — судьба, формы и пафос мщения. Схематик, теоретик, вычерчивающий прямые линии, Ирецкий не любил знакомой простоты, был склонен поражать неожиданностью, изобретать, рисовать и показывать необычное. Так начиналась и его повесть «Прибежище», печатавшаяся у нас в «Сегодня». Вот ее первые строки: «Мать была ровно вдвое старше дочери, но их принимали за сестер и отдавали предпочтение той, которая казалась моложе, т. е. матери». Это — рискованное пристрастие. Оно налагает на автора большую ответственность. Парадоксальность нравится, но не прощается, — особенно в беллетристике: нерасчетливо вызывать читателя на спор, восстанавливать своим упрямством против себя читательское сердце. Ирецкого отличала продуманность. Он, вообще, принадлежал к числу думающих, много и охотно размышлял — был, прежде всего, аналитик. Эта черта придавала писаниям Ирецкого некоторую суховатость и, как автор, он был несколько подтянут, осторожен и рассчитан.

Была у него и еще одна как бы противоречивость. Он был одновременно ироничен и лиричен. Благодаря иронии, он мог бы стать хорошим фельетонистом. Этому есть и доказательства. Они под рукой — их можно легко найти в номерах нашей газеты, и читатель, может быть, помнит его остроумный фельетон «Семья»? Беру первый попавшийся. Но, ироничный в своем существе, Ирецкий эту склонность затаивал и хоронил на всем протяжении своей беллетристики. Ирония помешала бы его замыслам. Их широта и — часто — фантастичность не выиграли бы, а проиграли, прошколотые стрелой иронии. Ради них он надевал на себя маску сосредоточенности, серьезности, даже теоретичности. Когда исполнилось 25-летие его литературной деятельности (1931), его спросили: «Какая тема вашего нового романа?»

И он ответил: «Проблема литературного творчества». Разве не замечательно? Разве не характерно? Не круг жизни, не лица, не люди, а именно и только проблема. Беллетристика для него была собранием жизненных парадоксов. Эти парадоксы оказывались всегда трагичными: мир построен банально и не очень умно, — кухня для слишком простых блюд, а Ирецкому хотелось и жаждалось остроты, пряности, отрав.

Но рядом с этой иронией, скептицизмом, суковатостью в нем жил еще и затаенный, но и откровенный лиризм, — вспомните рассказ «Завтра» из последней книги Ирецкого «Коварство и любовь». Напомню его содержание в двух словах. Она осталась в России, он получил командировку, уехал за границу — началась переписка. Пройдет только несколько месяцев и они увидятся. Он копит деньги, не ходит по театрам и кафе, не пьет пива и даже бросил курить. Так проходят месяцы, годы и происходит неизбежное: у него начинается связь с какой-то немкой, она выходит замуж за своего сослуживца, — «годы уходят, жизнь не ждет», и «трудно жить только завтрашним днем», — грустно говорит Ирецкий.

Итак: схематик, рассудочный скептик, склонный к иронии, иногда лирик. Получается стройная, законченная фигура, закругленная формула беллетриста. Но формула не закончена! Ирецкий в своих беллетристических вещах охотно и радостно тянулся и к анекдоту, — вспомним хотя бы из той же книги («Коварство и любовь») рассказ «Приключение с маркизой», где она, королева кокоток, жадная к деньгам, обещает сжечь 10.000 ливров. Их ей должен принести граф де Виль-Кастель. Сама она богата, но есть свои принципы и у кокоток: «Пока деньги будут гореть, — я ваша, но не дольше». Перехитрил граф: билеты были смочены огнеупорной жидкостью, но оказались еще и фальшивыми.

Ирецкий знал цену анекдота. И для него это была одна из самых милых литературных форм. Приближается к анекдоту и другой рассказ — «Попугай».

Ирецкий не сторонился анекдотов, не оберегался от их заманчивой прельстительности, и в этом сказалась, опять-таки, его немалая беллетристическая смелость.

Но, помимо всех других склонностей, Ирецкий был захвачен и мистически-философскими темами. Один из его рассказов называется: «Мы ничего не знаем». Австралийский инженер возвращается в Европу вместе с невестой. Они заезжают в Париж, записываются в отеле, занимают две комнаты в разных этажах. Спустившись в номер невесты, инженер видит, что комната пуста. Начинаются галлюцинации, действительность смешалась с вымыслом: все неверно, все призрачно. И в другом рассказе замистифицированный Кэстон сходит с ума. Его убедили, что все происходившее в его жизни, — только сон. Мир затуманился, в нем живет двойная обманчивость, наш ум ограничен, и «кроме видимых и осознательных, переживаемых в течение суток 24 часов, есть еще время, не поддающееся измерению ни нашим ограниченным умом, ни приборами, нашим же умом придуманными». Кэстон стал жить в мире привидений, бесплотных образов и галлюцинаций.

Так, в разных своих произведениях, Ирецкий поворачивается к нам то одной, то другой стороной, жадный к темам, беллетрист с капризным воображением, схематик и фантазер, влекшийся к утопиям и анекдоту, чтивший логику и понимавший великое значение случайности. Но воображение, как и вдохновение, нужно и поэту, и математику.

Ирецкого читали с удовольствием. Он хорошо владел русским языком, — это тоже не часто встречается. Его законы и капризы Ирецкого манили, как многозначительные, любопытные и веселые странности и радости. Ценили Ирецкого не только русские читатели, — он переведен был на несколько языков, а если сейчас выпустить полное собрание его сочинений, оно составило бы свыше 10 томов. В конце концов, Ирецкий — это разнообразие и нетерпеливость, не тяжелая и приятная пестрота сюжетов, выдумок, утопий, лирики и анекдотов.

Н. Волковыский

«УДАВШАЯСЯ» СМЕРТЬ

(Памяти В. Я. Ирецкого)

Еще один гроб с останками близкого человека. Нестало Виктора Яковлевича Ирецкого.

Для читателя ушел в иной мир еще один писатель, имя которого он привык видеть под небольшими новеллами, на заглавных листах многочисленных романов и сборников рассказов. Для многих из нас умер интересный, своеобразный, во многом непохожий «на всех» человек, старый друг и товарищ по тяжелым, и тоже единственным в своем роде, годам жизни в Сов. России. Литературный и журналистический Петербург знал его задолго до октябрьской революции, и если я выделяю эти пять лет совместной жизни и работы именно в большевицкие годы, проведенные вместе, рядом, совсем рядом, так близко один возле другого, как тесно живут люди в одной студенческой комнате, — то потому, что это время было эпохой глубоких испытаний характера, воли, душевной устойчивости, нравственной непоколебимости.

То, чему В. Я. Ирецкий отдал пять лет нашей совместной с ним в сов. Петербурге жизни, разрушено, рассеяно по ветру, это — библиотека в 80 тысяч томов, собранная, составленная, частью — на плечах в мешке принесенная в петербургский Дом Литераторов из далеких углов столицы, куда мчался этот неутомонный, неутомимый человек, влюбленный в книгу, знавший ее, любивший ее не «вслепую», а проникший влюбленной душой в каждую страничку, в каждую художественную заставку, в каждый уголок переплета.

Тяжело под непосредственным впечатлением гнетущего известия о смерти человека, который так любил жизнь, как Ирецкий, который имел еще много сказать — он всегда

наблюдал и мыслил, — вспоминать связанные с ним подробности совместной работы, и — да простится слово «высокого штиля» — совместной борьбы. Мирной, культурной борьбы за физическое и духовное сохранение русских писателей в обстановке, когда гибель надвигалась со всех сторон.

Виктор Яковлевич выдержал испытание, ниспосланное ему, как и миллионам других. Воля, уважение к духовным ценностям, глубокое признание примата духовного над материальным, спокойное, выдержанное и мудрое отношение к лишениям бытовым, вера в то, что закрытая тучами звезда снова засияет, — все это он пронес через годы опасностей, холода и запустения. В Доме Литераторов он был книжным тираном. Свое книжное царство, с каждым днем все шире разраставшееся из малого печатного княжества, он превратил в суверенное государство, куда доступа не было даже тем из нас, кто, в порядке бюрократической иерархии, не знал в нашем писательском Доме закрытых дверей. Мы не бунтовали, потому что знали, что в его руках наша общая мечта — создать богатое книгохранилище, которое будет вечной собственностью русских литераторов, — нашла себе надежный приют. И не сомневаюсь, что не один русский писатель — за рубежом, как и внутри России — вспомнит с благодарностью и умилением часы, проведенные среди бесконечных полок любовно установленных, любовно систематизированных книжных богатств.

Понятие о собственности было упразднено. Книги обрелись на поток и разграбление. Библиотеки стояли на пороге гибели. В. Я. Ирецкий принимал участие в «грабеже». Но не на цигарки, не на рассылку философских творений в неграмотную деревню. Он накоплял «коллективную собственность» для русских писателей, он берег с нежностью любящей матери каждую книгу с авторским автографом, он проверял каждую иллюстрацию, наклеенную на вкладной лист из светло-коричневой толстой бумаги.

Для тех, кто в эти тяжкие годы не забрасывал научной, литературной, исследовательской работы, он был бесценным кладезем справочных сведений. Он собирал и читал.

Всю жизнь делал он и то, и другое: он читал и накоплял наблюдения, опыт, мысли. За советские годы он много собрал и своих духовных коллекций не хотел вывозить за границу: когда ему осенью 1922 г. объявили, как и некоторым из нас, что он будет выслан за границу, он отказался ехать. В день, когда мы все, высылаемые, должны были сесть на пароход, шедший из Петербурга в Штеттин, пришла из Москвы весть, что высылка Ирецкого отменяется. Его жена, ныне профессор в Америке, выхлопотала ему оставленье в России. Ему было грустно расставаться с нами, но он радовался, что не покидает родины. Несколько недель спустя мы встречали его в Берлине: отмена была отменена. Ирецкий присоединился, против своей воли, к нам. Теперь он расстался с нами. Навсегда.

В эмиграции он жил своей, совсем особой жизнью. Без погони за материальными благами, которых судьба и не посыпает тем, кто не рвется за ними. Жил в скромной комнате, заваленной книгами, вырезками, гравюрами, стопами исписанной бумаги. Семь романов выпустил он за границей, сборник рассказов и новелл. 30-летие своей литературной деятельности он справил так же неумело, как многое делал он для себя. По старой богемной привычке, мог он до глубокой ночи гулять с кем-нибудь по берлинским улицам, не замечая осеннего ветра, в споре, в рассказах, в метких, нередко — злых замечаниях. Он был неприветлив, нольному, нуждающемуся литератору он приносил в его убогую жизнь бодрость и заботу.

Он очень много знал, он был очень начитан, но не было броскости в его манере делиться этим богатством в беседах с друзьями. Он считал, что критика обошла его, не оценила достаточно — и была желчность в этом человеке, в совершенно молодые годы награжденном в Петербурге литературной премией, а при большевиках участвовавшем в жюри, которое — первое — обратило внимание на дарование молодежи из созвездия «Серапионовых братьев»: Федина, Никитина, Каверина. Обратило внимание и увенчало их наградами Дома Литераторов.

Он мог просидеть вечер в угрюмом молчании и мог быть интереснейшим, оригинальным, покоряющим собеседником.

Он долго и мучительно хворал. Врачи не могли определить его болезнь. Люди, видавшие его в этот тяжелый год его жизни — последний год! — рассказывали мне, что он ни на мгновение не переставал быть тем, чем был всю свою жизнь: жадно-любознательным. Читатели «Сегодня» до последних недель встречали его подпись под рассказами. Вряд ли кто-нибудь из них думал, что эти новеллы написаны в постели умирающим.

Как пишут мне из Берлина общие литературные друзья, — врачи, совсем недавно, установили наконец, что у него — «запущенный туберкулез». От него не скрыли этого диагноза. Ирецкий отнесся к нему спокойно: в его годы — (ему было за пятьдесят) туберкулез не опасен. Природа сулила иное: Виктор Яковлевич, снова чувствовавший себя хорошо, начал гаснуть на глазах у тех, кто не оставляли его до последней минуты. И погас. У него многое было не как у всех: для него туберкулез во второй половине века оказался гибельным.

Ирецкий считал, что жизнь ему не удалась. Кто может быть судьей в этом? Но смерть «удалась» ему, как неумолимо удается она каждому.

Варшава

ПРИМЕЧАНИЯ

Для настоящего собрания нами были отобраны главным образом произведения авантюрного и фантастического (а также научно-фантастического) свойства. За пределами собрания остались многочисленные бытовые, любовные, юмористические и т. п. рассказы, новеллы и крошечные «повести» В. Я. Ирецкого, опубликованные им как в России, так и эмиграции.

Все тексты публикуются по первоизданиям с исправлением очевидных опечаток и отдельных устаревших особенностей орфографии и пунктуации. В оформлении обложки использована работа Ф. Мазереля.

Гравюры

Вторая и лучшая книга рассказов В. Я. Ирецкого *Гравюры*, оформленная А. Н. Лео, вышла в свет в Петербурге в октябре 1921 г. тиражом в 800 экз. и включала восемь рассказов.

«Есть у В. Ирецкого одна характерно интересная черта. Ее можно было бы назвать потребностью противоречить или протестующим упрямством. Его тайная страсть — перечить. Он любит крайности. Вот — 1920 г. В Петербурге — голод, ужас, замерзание, обтрепанность, начало вырождения. Как раз в этом году, где-то на кухне, в страшном холоде В. Ирецкий пишет стилизованные рассказы из эпохи 16, 17, 18 веков (“Гравюры”)» — писал П. Пильский (Пильский П. 2 х 2 =5:25-летие литературной деятельности В. Я. Ирецкого // Сегодня (Рига). 1931. № 231, 22 авг. С. 2).

Книга вызвала уничижительные отзывы большевистской критики, напр.: «Пролетарий может ознакомиться с книгой, чтобы знать, чем живет сейчас побежденный им класс» (Новый мир. 1922. № 1. Стлб. 276). С резкой критикой обрушился на автора и С. Бобров: «Бледность <...> безвредные и незлобивейшие анекдотики, не могущие, конечно, никого заинтересовать своим содержанием»; впрочем, в конце рецензии критик снизошел до некоторой похвалы: «Тем не менее читаются все эти бонбоньерочки очень легко, и автор их, очевидно, некоторых способностей не лишен» (Печать и революция. 1922. Кн. 1 С. 294). С дру-

гой стороны, Вас. И. Немирович-Данченко отметил «полуулыбку сдержанной иронии, сквозящей в самых трагических эпизодах воскрешаемых былей» (Вестник литературы. 1921. № 1, с. 9-10).

Еще два рассказа под общим заглавием *Гравюры* («Поэт» и «Дионисьева икона») были опубликованы Ирецким в первом сборнике *Северное утро* (Пб., 1922).

К этим десяти произведениям нами добавлены тематически и стилистически примыкающие рассказы «Придворный художник» и «Когда орда кочевала», впервые опубликованные в рижской газете *Сегодня* (соответственно, № 8 за 1933 г., 8 янв., с подз. «Исторический рассказ», и № 2 за 1926 г., 2 янв.).

Приключения с маркизой

Сегодня (Рига). 1934. № 14, 14 января, с подз. «Повесть».

Проказы короля

Сегодня (Рига). 1934. № 56, 25 февраля, с подз. «Исторический рассказ».

То, что не забывается

Сегодня (Рига). 1936. № 204, 26 июля.

Приключения шевалье

Сегодня (Рига). 1935. № 41, 10 февраля, с подз. «Повесть».

Клеврет херувимов

Сегодня (Рига). 1934. № 235, 26 августа.

Агасфер

Сегодня (Рига). 1934. № 97, 8 апреля.

Вторая молодость

Сегодня (Рига). 1932. № 97, 16 октября.

Джибути

Сегодня (Рига). 1935. № 301, 31 октября.

Через пятнадцать лет

Сегодня (Рига). 1934. № 284, 14 октября. Рассказ написан для юбилейного номера, выпущенного к 15-летию газ. *Сегодня*.

Мы ничего не знаем

Сегодня (Рига). 1934. № 249, 9 сентября.

Сон золотой

Сегодня (Рига). 1932. №№ 84-85, 24-25 марта.

Американец

Сегодня (Рига). 1925. № 374, 15 февраля.

Кафедра

Сегодня (Рига). 1930. № 212, 3 августа.

В рассказе явно сказались впечатления, вызванные приглашением бывшей жены автора Е. В. Антиповой на работу в Бразилию и ее отъездом туда в 1929 г.

Тайфун

Сегодня (Рига). 1935. № № 117-119, 28-30 апреля.

П. Пильский. Смерть В. Я. Ирецкого

Сегодня (Рига). 1936. № 319, 18 ноября.

П. М. Пильский (1879-1941) — журналист, беллетрист, литературный критик, зав. литературным отделом газ. *Сегодня*.

Н. Волковыский. «Удавшаяся» смерть

Сегодня (Рига). 1936. № 322, 21 ноября. В тексте некролога встречаются фактологические неточности.

Н. М. Волковыский (1881-1941?) — журналист, один из основателей петроградского Дома Литераторов. Выслан из Советской России в ноябре 1922 г. После смерти Ирецкого пользовался его псевдонимами «Д. Фашевский» и «Д. Ф.».

ОБ АВТОРЕ

Виктор Яковлевич Ирецкий (наст. фам. Гликман) родился в 1882 г. в Харькове. Сын врача, воспитывался отчимом, инженером-путейцем. В 1893-1901 гг. учился в реальном училище в Белостоке. В 1901 г. поступил на агрономическое отделение Киевского политехнического института, но уже в феврале 1902 г. был отчислен за участие в студенческих беспорядках и после двух месяцев ареста поступал вновь. Пробыл в институте до сентября 1905 года, курса не окончил. В 1906-1908 гг. был вольнослушателем юридического факультета Петербургского университета, в 1911-1915 гг. посещал лекции в петербургском Археологическом институте — занятия эти оказались впоследствии в рассказах сборника *Гравюры*.

Публиковаться начал в первые годы XX в. в провинциальной прессе, в том числе в *Киевской газете*, с 1906 г. выступал с библиографическими и критическими заметками в газете *Речь*, одновременно там же и в других периодических изданиях (*Современный мир*, *Новая жизнь*, *Вестник Европы*) публиковал рассказы. В 1910 г. на конкурсе Общества любителей российской словесности был награжден Гоголевской премией, с тех пор активно печатал в «тонких» журналах (*Искорки*, *Волны*, *Солнце России*) любовные, юмористические, военные рассказы, в 1915 г. выпустил сборник рассказов *Суета*.

После Февральской революции Ирецкий взял интервью у вел. кн. Николая Михайловича, опубликовал его письмо Николаю II с предупреждением о грозящей катастрофе; по материалам архива Департамента полиции составил и выпустил в 1917 г. брошюры *Романовы: (Сколько они нам стоили)* и *Охранка: (Страница русской истории)*. После Октябрьской революции был членом исполнительного комитета Дома Литераторов, заведовал его библиотекой, сотрудничал в журналах *Летопись Дома Литераторов* и *Вестник литературы*, опубликовал рассказы в сборниках *Северное утро*, *Петербургский сборник: Поэты и беллетристы*, *Собачья доля* (все — 1922). В 1921 г. вышел сборник *Гравюры*, вызвавший гнев большевистской критики.

Осенью 1922 г. Ирецкий был арестован ГПУ, затем было принято решение о высылке его в Германию. Жена писателя, психолог Е. В. Антипова (1892-1974) выехать с мужем отказалась, ссылаясь на важность работы в детском распределителе Наркомпроса в Пет-

рографде, однако сумела добиться для Ирецкого двухнедельной отсрочки.

Оказавшись в Берлине, Ирецкий деятельно включился в литературную жизнь эмиграции, в 1923 г. совместно с Б. О. Харитоном редактировал журн. *Сполохи*. Публиковал рассказы и очерки в периодике Берлина, Риги, Нью-Йорка (особенно заметным было его участие в рижской газете *Сегодня*).

В 1924 г. Е. В. Антипова с пятилетним сыном Даниилом (1919–2005) выехала к мужу в Берлин. Но совместная жизнь не сложилась: уже через год она отправилась в Швейцарию к своему учителю Э. Клапареду, работала в Институте Ж.-Ж. Руссо, в 1929 г. по приглашению правительства Бразилии выехала в эту страну, где стала всемирно известным психологом и педагогом (Ирецкий откликнулся на ее отъезд горько-ироническим рассказом *Кафедра*).

В 1925 г. вышел фантастический роман Ирецкого *Похитители огня*, за ним последовал НФ-роман *Наследники* (1928). Любопытно, что последний роман был также опубликован в России московским издательством «Пучина» под названием *Завет предка* и именем «Я. Ириксон» как якобы «авторизованный перевод с датского». В 1930 и 1931 гг., соответственно, выходят романы Ирецкого *Холодный уголь* и *Пленник*; в Берлине также были опубликованы фантастическая пьеса *Мышеловка* (1924) и сборники рассказов *Коварство и любовь* (1936) и *Она* (1937).

Последние годы жизни Ирецкого прошли под знаком разгула нацизма (которому он посвятил немало гневных очерков); в герое рассказа *Агасфер* (1934) и его желании найти прибежище в Палестине читаются автобиографические нотки. Ирецкий много болел, умер от туберкулеза в Берлине 16 ноября 1936 г. Его архив, переданный после смерти в Русский заграничный исторический архив в Праге, после 1946 г. и «передачи» РЗИА в СССР (фактически — насильтственного изъятия) долгие годы находился в спецхране, ныне хранится в РГАЛИ.

Оглавление

ГРАВЮРЫ

Масон	7
Рыцарь Бергэм	12
Приключение	17
Записки каноника	22
Ловец человеков	28
Новелла 59-ая	32
Откровение	37
Короткая сказка	41
Поэт	47
Дионисьева икона	51
Придворный художник	56
Когда орда кочевала	61

ТАЙФУН

Приключение с маркизой	68
Проказы короля	78
То, что не забывается	84

Приключения шевалье	89
Клеврет херувимов	99
Агасфер	103
Вторая молодость	110
Джибути	117
Через пятнадцать лет	125
Мы ничего не знаем	131
Сон золотой	140
Американец	151
Кафедра	157
Тайфун	154
 <i>Приложения</i>	
П. Пильский. Смерть В. Я. Ирецкого	185
Н. Волковыский. «Удавшаяся» смерть	191
 П р и м е ч а н и я	
Об авторе	198

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.